В. Мухина-Петринская

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания об аресте в октябре 1937 г., следствии, ярославской тюрьме, Колымских лагерях, повторном следствии в конце 1940 — начале 1941 г., Карлаге (Карагандинская область Казахской ССР), освобождении в июне 1946 г.

- Валентина Михайловна Мухина-Петринская
  - Птице отрезали крылья
  - Клочок неба
  - Доброе слово
  - Спасите наши души
  - На ладони судьбы
  - Одна в пространстве
  - На темной дороге
  - Меценат из Чека
  - День первый
  - День второй
  - Обреченная бригада
  - Я тебя никогда не увижу
  - У стен родного города
  - Когда человек побеждает

Валентина Михайловна Мухина-Петринская
На ладони судьбы: Я рассказываю о своей жизни

Птице отрезали крылья

1937 год начался для меня очень счастливо. Уже в день своего рождения, 7 февраля, я получила письмо из Москвы, что меня сильно удивило, так как никаких знакомых в столице у меня не было.

Письмо из Госиздата начиналось примерно так: «Просматривая литературу, выходящую на периферии, мы прочли вашу повесть «Побежденное прошлое» о беспризорнице Любке, напечатанную в альманахе «Литературный Саратов» № 1. Если ваши другие произведения по качеству не хуже, то присылайте, а лучше всего сами привозите, с удовольствием будем издавать ваши книги».

Это был лучший подарок ко дню моего рождения, и я немедля занялась подготовкой своей рукописи для Госиздата.

В апреле я уже привезла ее в Москву. В издательстве приняли меня тепло, хотели устроить в гостиницу, но усомнились, хватит ли у меня денег (плоховато была одета), устроили в какое-то литературное общежитие.

Рукопись прочли, одобрили и к 1 мая уже заключили со мной договор на книгу рассказов.

По рекомендации издательства журнал «Красноармеец, краснофлотец» принял к печати мой рассказ «Партизанка» и тут же пустил его в производство.

Получив гонорар, я первым делом отправилась в какой-то универмаг, приобрела чемодан и принялась покупать и складывать в него подарки для родных и друзей. Себе я нашла в ателье шелковое черное, очень элегантное платье, от которого была в полном восторге, удалось купить в тон и красивые туфельки на французском каблучке.

Обратный билет я купила на 10 мая, хотелось лучше осмотреть Москву и побывать в театрах.

Утром 1 мая 1937 года я стояла на тротуаре и смотрела на проходившую мимо демонстрацию, вливавшуюся на Красную площадь. Рядом со мной стояли двое командиров Красной Армии. Они вполголоса — очень тихо — рассуждали о Сталине. Но слух у меня тогда был весьма хороший, да и тема показалась интересной, и я, что называется, «навострила ушки». Командиры шептали о том, что Сталин буквально обезглавливает армию, уничтожает ее лучших, способнейших, талантливейших военачальников.

То, что говорили о Сталине эти двое, для меня не было новостью. Мне приходилось беседовать с папиными друзьями —

старыми большевиками и даже соратниками Ленина. Эти люди были чисты и наивны… Они обращались в Центральный Комитет с протестом, требуя убрать Сталина из ЦК. С ними расправлялись сразу. Расстреливали или ссылали на Колыму, где они погибали при каком-нибудь массовом расстреле. (Об этом я узнала много позже.)

Я со школьной скамьи знала, какое несчастье для моей родины, что так рано умер Ленин и что, несмотря на его протест, в свое время партия допустила хитрого, неумного, завистливого, жестокого Сталина к необузданной власти, какой не было ни у одного императора (разве что у Ивана IV). Аресты шли каждую ночь, почти в каждом доме. На заводах, в учреждениях, школах, университетах, в академиях. Уничтожались самые способные, самые талантливые. Иногда для ареста было достаточно, что этот человек — личность!

В Саратовском отделении Союза писателей нашелся свой злой дух. Бездарный, завистливый поэт. По его доносам посадили более ста невинных людей. Сначала он «сажал» по одному, но с 1936 года стал «сажать» пачками.

Меня взяли последней в нашей «группе» 4 октября 1937 года. На месяц позже, чем было запланировано. Дело в том, что в то время у нас провалились полы, и мы на время ремонта переехали к двоюродному брату Яше. За этот месяц раза два или три приезжали ночью меня арестовывать, но заставали пустую квартиру. Никто из соседей, хотя прекрасно знали, где я нахожусь, не сообщил адреса. Говорили: «Наверное, где-нибудь в доме отдыха, пока ремонт…»

День ареста отпечатался в моей памяти до мельчайших деталей, до последнего оттенка окраски.

Проснулась я в десять утра. Сестренка давно ушла в училище (она училась в художественном, на втором курсе). За чаем я рассказала маме неприятный сон. Будто я поднялась на второй этаж какого-то сумрачного здания, долго шла по коридору и вошла в комнату. За письменным столом сидел какой-то мужчина и, пригласив меня садиться, протянул мне недошитую мужскую сорочку.

— Вот мы сшили полотняную рубашку для Павла Федоровича Липендина, — сказал он, — осталось несколько стежков. Дошейте, пожалуйста, ведь он, как секретарь обкома по пропаганде, очень ценил вас, подолгу беседовал с вами…

И он протянул мне недошитую рубашку. Я наотрез отказалась ее взять. Мужчина стал угрожающе подниматься, и я проснулась.

— Какой нехороший сон, — вздохнула мама. — Устроили в руководстве обкома какую-то свистопляску: арестовали первого

секретаря Криницкого, через неделю — ставшего на его место Барышева берут, а потом Липендина. Сколько был Павел Федорович секретарем обкома?

— Четыре дня.

— Черт-те что! Такой хороший человек. Настоящий коммунист… Ты куда собираешься?

— К редактору газеты. Давно там не была.

— Какое платье наденешь?

— Черное крепдешиновое.

— Правильно, оно тебе очень идет.

Из дома мы вышли вместе. Дошли до Крытого рынка, куда направлялась мама. Я поцеловала ее и перешла на другую сторону улицы. Но почему-то еще раз перебежала улицу и еще несколько раз поцеловала маму крепко, крепко. Когда уходила, оглянулась, мама все смотрела мне вслед и махала рукой. Не скоро она меня увидела вновь.

Редактор Касперский обрадовался моему приходу и дал мне задание написать очерк о депутате.

— Идите прямо сейчас в горсовет, где вам дадут имена лучших депутатов.

В коридоре меня ждал крайне взволнованный секретарь редакции, он сказал, что ему очень необходимо со мной поговорить, и просил зайти к нему. Я зашла. Но он не мог выдавить из себя ни слова и чуть не плакал, глядя на меня. Тогда я не знала, что ему поручили сообщить в НКВД, как только я приду в редакцию.

— Я слушаю тебя, — нетерпеливо сказала я. Но так как он ничего не мог придумать, то я пошла в горсовет.

День выдался совсем летним — солнечный, жаркий. В горсовете я несколько задержалась, но зато выбрала, о ком именно писать очерк. Взяла адрес. Выйдя на улицу, я вдруг почувствовала, что проголодалась, и решила зайти в кафе, чтобы выпить чашечку кофе и съесть пирожное. Меня окликнула худощавая, очень некрасивая молодая женщина в темно-красном шерстяном платье и огромных черепаховых очках, что-то в ней было обезьянье.

— Вы Валентина Мухина? — осведомилась она. Решив, что это одна из моих почитательниц (они у меня уже появились, особенно после рассказа «Чей ребенок»), я с улыбкой подтвердила это.

— Пройдемте со мной, — вполголоса сказала она и, когда я, что называется, вытаращила глаза, пояснила: — Я из НКВД.

Я шла рядом с ней, соображая, зачем, интересно, меня туда вызывают? Решила, что как свидетеля по делу Иосифа Кассиля.

Кассиль был арестован уже с полгода, а я была очень дружна и с ним и с его женой Зиной. Пока дошли до НКВД, я обдумала целую защитительную речь. Почему-то мне не приходило в голову, что это арестовывают меня. Как я потом узнала, ее только сегодня назначили моим следователем, и у нее еще не было ордера на мой арест. Мы поднялись на третий этаж и шли точно таким коридором, какой был в приснившемся мне сне. Но комната, куда меня привели, оказалась солнечной, даже уютной, и там сидели два симпатичных молодых человека.

Оставив меня с ними, «обезьянка», как я уже мысленно окрестила ее, быстро ушла к начальнику. А мы тем временем разговорились… Оказалось, что один из этих молодых людей тоже был на Алданских золотых приисках, в Незаметном. Мы даже вспомнили наших общих знакомых, комичные сценки из жизни золотоискателей. Когда мой следователь, та самая женщина, вернулась, я весело хохотала во весь голос. Она негодующе уставилась на меня своими злыми черными глазками.

— Вы арестованы, — заявила она. Я удивилась.

— За что?

— Вас вызовут на допрос, и вы узнаете.

— А-а. Вы меня сейчас отправите в тюрьму?

— А куда же еще?

— Видите ли, я проголодалась. У вас, конечно, есть тут буфет? Возьмите мне, пожалуйста, кофе и что-нибудь съестное.

— Вас покормят в тюрьме.

— Но обед, наверное, уже прошел?

На этом меня отправили в тюрьму. Там я сначала попала в канцелярию. Посреди комнаты стояли два следователя и тихонько переговаривались о чем-то. Ко мне подошел лысый толстяк, подвел меня к столику, на котором были разложены открытые плоские ящички, и стал брать у меня отпечатки пальцев.

Он делал это так старательно и так от усердия сопел, что пот выступил на его лбу и на лысине.

«О господи! Какой идиотизм!» — подумала я, и вдруг мне стало так смешно, что я, не выдержав, громко расхохоталась. Оба следователя обернулись.

— Истерика, — констатировал один. Его товарищ встретил мой смеющийся взгляд.

— Никакая не истерика, — с какой-то горечью заметил он, — ей действительно смешно.

После взятия отпечатков меня отвели в камеру на четвертом этаже. В камере находилось пятеро женщин, арестованных этой ночью либо утром этого дня. Все пятеро, видимо, уже устали

плакать. Мое имя было им известно, и они дружно ахнули, что меня тоже арестовали. Из этих первых сокамерников мне запомнились двое. Молодая девушка Валя, харбинка (в эту ночь забрали также ее сестру и мать, всю семью; отец давно умер).

Затем научный работник Ольга Борисовна, тридцати восьми лет, микробиолог. Муж ее был физик, его тоже забрали в эту ночь. Их грудного ребенка, шестимесячного сынишку, увезли в детдом…

— Мы женаты пятнадцать лет, но у нас не было детей, — горько жаловалась Ольга Борисовна, — я столько лет лечилась… и вот родила, сына. Сколько было радости! Мы были так счастливы. Я назвала сына, как и мужа, — Олег. А теперь… что с ним, моим крошкой?..

Вечером меня вызвали на допрос.

— Кто на букву «М»?..

Старший следователь Александр Данилович Щенников оказался еще молодым, лет тридцати, довольно красивым мужчиной. Серые, стального цвета глаза смотрели жестко, недобро, но мне показалось, что в глубине его глаз затаилась щемящая боль и растерянность.

Этот жесткий человек с первого дня вызывал у меня непонятное чувство жалости к себе…

Когда мы покончили с анкетой, я устроилась на стуле поудобнее и спросила:

— Так почему меня арестовали? Следователь на мгновение отвел глаза, но заставил себя посмотреть мне прямо в лицо.

— Вам придется подписать этот протокол… прочтите… из него узнаете, в чем вас обвиняют.

Я прочла и удивленно посмотрела на Щенникова.

— Вы не находите, что это уж чересчур глупо? — спросила я.

Согласно протоколу меня и моих товарищей обвиняли в попытке «реставрации капитализма методом террора и диверсии».

— Вы думаете, я это подпишу? — спросила я.

— Раньше или позже подпишете, — устало уронил следователь.

— Но, товарищ следователь…

— Называйте меня… меня зовут Александр Данилович.

— Поняла. Постараюсь никак вас не называть. Послушайте, смотрите мне прямо в глаза и скажите, что вы сами верите в это… ну в эту чушь!

Щенников усмехнулся: «Черт побери, что я — круглый идиот, не понимаю, кто передо мной сидит?»

— Ладно, — добавил он, — вы сегодня устали. Все-таки арест

— это травма, отправлю-ка я вас лучше спать» если, конечно, уснете… Постарайтесь уснуть. Завтра я вас вызову.

— Спасибо, — сказала я. — У меня к вам просьба: необходимо уведомить о случившемся маму, ведь она теперь от беспокойства с ума сходит.

— Не положено.

— Как не положено?.. Но ведь это жестоко. Одну ночь не явлюсь домой, другую, мама может подумать, что со мной случилась беда.

Щенников взглянул на меня с любопытством.

— У вас действительно беда, Валентина Михайловна.

— Какая же это беда? Я жива, здорова. Если хотите знать, мне даже очень интересно посмотреть, какие у нас тюрьмы, какие методы следствия…

— Ваша мама обратится в милицию, — перебил меня Щенников, — там ее надоумят, где вас искать…

Утром меня не вызывали, а вот после ужина, заглянув в камеру, осведомились, кто тут есть на букву «М»?

— Мухина, — отозвалась я.

— Собирайтесь к следователю. Быстренько.

У Щенникова я, к моему удивлению, застала нескольких молодых следователей; как я поняла, их прислали для ведения перекрестного допроса. Они удобно расселись на диване, на стульях и уставились на нас, как в театре.

Щенников вновь стал убеждать меня подписать протокол. Убеждал на всякие лады: и уговаривал, и угрожал.

Однако то один, то другой из молодых следователей-стажеров вставал, заходил за спину Щенникова, словно хотел посмотреть в окно, и незаметно делал мне красноречивые знаки: дескать, не подписывай.

Щенников обратился к следователям:

— Я что-то вас не слышу. — И стал раскуривать папироску.

Но перекрестный допрос явно не получался. Они что-то мямлили, тянули. Один ни к селу ни к городу стая рассказывать о том, как героически вел себя один из его подследственных, но спохватился, перевел разговор на то, почему мой следователь, которая меня арестовала, отказалась вести следствие.

Хмурившийся Щенников внезапно расхохотался. Оказывается, она подала заявление на имя начальника НКВД, что Мухина — опытный, матерый враг народа — ей не по зубам: потому что она смеялась во время ареста и у нее не пропал аппетит. Все дружно захохотали.

— Но вернемся к протоколу… — сказал Щенников.

— Александр Данилович, хватит меня убеждать в том, во что

вы и сами не верите. Давайте я лучше расскажу вам, как я в первый раз влюбилась.

— Это было в Саратове? — с надеждой спросил Щенников.

— Нет, это было в Севастополе.

Тут я припомнила один весьма комичный случай из своей жизни и рассказала его. В разгар нашего веселья в кабинет зашел один крайне несимпатичный, и судя по тому, как все сразу притихли и подтянулись, следователь довольно высокого ранга.

— По какому поводу такое веселье? — сухо осведомился он.

Все промолчали.

— Подписала? — кивнул он на меня.

— Пока не подписывает, — вздохнул Щенников.

— Не узнаю тебя, Александр Данилович. А почему она у тебя сидит? — неожиданно спросил он. — У меня стоит вторые сутки… А ну-ка, встаньте! — рявкнул он и выдернул из-под меня стул. Я не растерялась и мгновенно села на пол. Он опешил.

— Что еще за фокусы. — Он поднял меня. Я поджала ноги.

Ребята не выдержали и фыркнули от смеха.

— Прекратите этот балаган, — твердо потребовал Щенников. — Я старший следователь и веду следствие как нахожу нужным.

Все заметно приуныли.

Когда этот отвратительный человек ушел, я долго смотрела на следователей, испытывая странное чувство жгучей жалости к ним. Один из них, худощавый паренек с ярко-синими глазами, вдруг сказал:

— Валентина Михайловна так на нас смотрит, как будто… как будто, — он запнулся. Щенников усмехнулся:

— Ну что же ты, договаривай… как будто ей нас жаль?

— Вот этому человеку здесь хорошо, у которого женщина стоит по двое-трое суток на опухших ногах, — сказала я, вздохнув.

— Ладно, ребята, на сегодня можете идти, хватит с вас, отпускаю домой.

Стажеры удалились, каждый кивнул мне на прощание.

В эту ночь Щенников говорил со мной долго и откровенно. Не знаю, что его побудило к этому.

— Я проклял день и час, когда пошел учиться в юридический, — говорил он. — Вот вы спросили меня, верю ли я сам в то, что заставляю вас подписывать. Я отвечу честно: «Нет, не верю». А в глазах у вас невысказанный вопрос: почему же я не иду тогда к начальству и не требую, чтобы вас отпустили домой? Да потому, что вы не одна такая у меня, я убеждаюсь все больше, что все наши подследственные невиновны. Буквально все. Тюрьма

переполнена невиновными людьми, и эти ни в чем не повинные люди подписывают на себя чудовищные обвинения. Но вы не думайте, что в нашем НКВД собрались какие-то преступники, то же самое происходит во всех областях, краях и республиках… И виновником всего этого даже не Ежов. Не будет Ежова — будет Иванов, Сидоров или какой-нибудь Махарадзе. Виновен ОДИН человек — бесконечно жестокий, хитрый, жадный до власти. Это он сумел сделать так, что коммунист мучает и убивает коммуниста.

— И никак вам нельзя уйти? — робко спросила я.

— Никак. Только два пути: или через врачебную комиссию, но я здоров как бык, или сесть вместе с вами, но вам это ничем не поможет, а мне будет очень лихо, ох как лихо. Большинство наших в такой ситуации до лагеря не доживают. Может, я малодушен. Конечно, малодушен, мне не хватает решимости сесть за вас. Ведь у меня семья… Сын! Которого я очень люблю…

— Если я выживу, когда-нибудь я напишу обо всем этом, и ваш сын прочтет, — проговорила я.

Щенников так побледнел, что я за него испугалась.

— Не расстраивайтесь, я напишу честно, правдиво, и ваш сын всё поймет.

— Спасибо, — чуть иронически поблагодарил старший следователь и отправил меня в тюрьму, а сам пошел к жене и сыну.

В этот раз я попала в «черный ворон» старой конструкции.

— Не разговаривать! — сказал конвойный а захлопнул за мной дверь. Там находились мужчины, которые и обратились ко мне с одним и тем же вопросом:

— Кто с вами сидит в камере?

Каждый из них искал свою жену. Их жен со мной не оказалось, но была жена одного их сокамерника, председателя исполкома Михаила Каравая, — Ата Лихачева (Августина Капитоновна). Главное, что я узнала: с ними в камере сидит мой лучший друг Иосиф Кассиль. Я стала расспрашивать о Кассиле и узнала…

У него жестокий следователь, прямо зверь, так его избивал, что Иосиф не мог после допроса заходить в камеру — его вносили. Следователя его зовут… Александр Данилович Щенников. Кассиль сказал им, что больше не в силах терпеть избиений и завтра утром подпишет.

— Его больше днем вызывают? — спросила я.

— Да, почему-то лишь днем, — отозвались они. Вот, оказывается, почему Щенников меня никогда не вызывал днем, а только по вечерам. Михаила Каравая тоже жестоко избивали, и он

подписал протокол с чудовищной клеветой на себя и теперь опасался расстрела. Жену увидеть он уже не надеялся и твердил только одно: «Мне бы еще хоть раз услышать ее голос, голос моей Аты, потом пусть приходит смерть…»

— Передайте ему, что он услышит ее голос. Я это обещаю твердо. Но предупредите его, чтоб не было никаких эмоций. Пусть молча слушает ее голос, и всё. Иначе он подведет под карцер и меня и Ату.

— Но как вы это сделаете?

— Это я еще придумаю. Мы же ходим на прогулку мимо вашей шестой камеры. И передайте мой горячий привет Иосифу Кассилю.

Пока я поднималась по тюремной лестнице на наш третий этаж, я придумала, как Михаилу Караваю услышать голос жены. Что Михаил подписал протокол, я ни ей и никому в камере не рассказала, Ата была так уверена в его мужестве, так гордилась им. Ведь она так и не подписала.

На другой день нас с утра повели гулять. Прогуливал нас дежурный по прозвищу Минуточка. Во время прогулки я то и дело останавливалась и хваталась за голову. Минуточка ругался, но ничего не подозревал.

На обратном пути, проходя мимо шестой камеры, я сделала вид, что упала в обморок, но, не рассчитав, довольно больно стукнулась головой о дверь. Ата, как мы договорились, «испуганно» закричала: «Джанунка!» Так она нежно называла мужа. И прибавила несколько фраз на английском языке. Минуточка заорал на нее: «Не разговаривать!» Но Ата очень красноречиво пояснила ему, что у меня еще на прогулке закружилась голова, он не дал мне постоять хоть минуту — и вот теперь я в обмороке.

— Бедная моя Джанунка, — и снова несколько взволнованных слов на английском языке.

Растерянный Минуточка побежал к телефону, вызвал ко мне врача. Ата успела сказать еще несколько слов «мне» по-английски. А из-за двери тихо, страстно и нежно: «Ата, прощай!»

Так исполнилось желание Михаила Каравая услышать голос жены, которую безгранично любил. Напрасно боялся он расстрела, ему дали двадцать лет лагеря, а вот Ату расстреляли. Мне до сих пор ее жаль. Сколько красоты, доброты, ума, живости, остроумия было в этой молодой женщине…

— Врач уже спускается, — успокоил Минуточка, явно сознавая свою вину. Я предпочла встать:

— Мне уже лучше.

Женщины повели меня под руки, как архиерея. Но тут на

меня и на одну из ведущих напал такой приступ смеха, что мы чуть было не испортили все дело.

— Плачьте! Черт вас возьми! Спасибо, Валя. Мы «плакали», задыхаясь от смеха. Врач пришла в ужас, пощупав мой пульс:

— Ну и частит!

Послушала сердце и… освободила меня на этот день от допроса.

На следующий день меня вызвали утром. Щенников сидел один. Перед ним на столе высилась груда книг — книжный паек, который следователи получали бесплатно раз в месяц.

В тюрьме была библиотека, но нам никаких книг не давали, за то что мы все шестеро не подписывали. Я очень стосковалась по книгам.

— Вы знаете почерк Иосифа Кассиля? — спросил следователь.

— Да, очень хорошо.

— Тогда посмотрите… — и он, не без торжества, показал мне точно такой протокол, какой был у меня, но подписанный… Кассилем.

Сердце у меня сжалось от невыразимой жалости к Иосифу, ведь я знала, как и почему он подписал эти лживые строки.

Но мне вдруг захотелось испытать Александра Даниловича, и я, мысленно попросив у Кассиля прощения, сказала:

— Я всегда считала Кассиля честным, порядочным человеком. Никогда бы не поверила, что он при первом испытании окажется такой сволочью.

Я смотрела прямо в лицо Щенникова и видела, как оно дрогнуло, потемнело, исказилось, словно его коснулись раскаленным железом…

— Не надо, не говорите так, Валентина Михайловна, вы же не знаете, чего ему стоило подписать этот несчастный протокол. Ведь с ним не цацкались, как с вами: ах, молодая, ах, талантливая, надо ее поберечь. Тронь я вас хоть пальцем, мне же не простят, со мной здороваться не будут. Кстати, Кассиль лишних два месяца принимал за вас муки, требуя, чтоб хоть вашу фамилию вычеркнули из протокола.

— Я ни минуты не считала Кассиля сволочью, — грустно произнесла я, — мне просто хотелось видеть, как вы будете реагировать на мои слова.

— Ну и послал мне господь бог подследственную.

— Господь тут ни при чем. Вам послал ее, как я уверена, Вадим Земной — бездарь, завистник, клеветник и убийца.

— Откуда вы это знаете?

— Он уже посадил нескольких наших товарищей.

— Было бы болото, черти найдутся, — вздохнул Щенников.

Затрещал телефон. Его вызывали к начальству. Он позвал следователя из соседнего кабинета.

Следователь курил, стоя в дверях, а я принялась рассматривать книги.

Томик Валерия Брюсов а был таким, что мог уместиться у меня в кармане пальто. И я его незаметно туда препроводила.

Вернувшись, Щенников сразу обнаружил пропажу и пришел в страшную ярость.

— Нет, что за безобразие! Какой он из себя, кто ее взял?

— Среднего роста, шатен, худощавый… лучше спросите у вашего коллеги.

Но коллега хлопал удивленно глазами и уверял, что не заметил, потому что задумался.

В этот вечер Щенников сделал опять серьезную попытку уговорить меня подписать протокол. Он боялся, в этого не скрывал, что меня передадут другому следователю, который не остановится перед применением ко мне пыток и избиений. На совещаниях возмущаются тем, что Александр Данилович так со мной «цацкается». Я наотрез отказалась, выразив надежду, что у меня хватит сил противостоять.

Молодые следователи то и дело заходили в кабинет Щенникова на «огонек» и прислушивались к нашему разговору.

Среди них особенно тепло относился ко мне Шура Артемов. Симпатичный паренек с необычайно яркими синими глазами. Зашел еще один из следователей; только что вернувшись из командировки в Москву, стал рассказывать Щенникову, как обстоят дела у его коллег на Лубянке.

Передавал слова следователя, который вел дело Бухарина: «Ну и человек, вертится словно уж, нажмут на него как следует — он не выдержит, подписывает, а доберется до тюрьмы, отлежится в камере и требует бумагу и чернила — отказывается от показания, да еще жалуется прокурору, что его избивают. В следующий раз его сильнее обработают — опять та же история: подпишет, отлежится, берет назад признания. Девятнадцать раз уже брал назад…»

Шура Артемов вздохнул, взглянув на меня, и, как-то сутулясь, подошел к окну.

Рассказчик тоже взглянул на меня и осекся.

— Неважно, — сказал Щенников, — продолжай. В этот вечер Щенников отправил меня в тюрьму пораньше, еще никто у нас в камере не спал. Едва закрыли за мной дверь, я вытащила из кармана пальто томик Валерия Брюсова. Пять рук протянулись к нему.

— Подождите, друзья, — объявила я, — сначала по нему погадаю…

— Как это «погадаю»?

— А вот так. — Я наугад раскрыла книгу, заложила пальцем строчку и доверчиво вопросила: — Что меня ожидает в ближайшие годы?

Все даже дыхание затаили. Их ведь ожидало примерно то же самое.

Ответ гласил: «Лишь смена мук». Лица наши вытянулись, у некоторых побледнели.

— Как стихотворение-то называется? — буркнула Ата.

— «Мучения святого Себастьяна». Подставь вместо Себастьяна Валентину, — вздохнула я. — Кто следующий гадать?

Желающих не оказалось.

Однажды вызывают вечером меня на допрос. Вхожу в просторную, чистую комнату Щенникова. Все в сборе, сидят кто на диване, кто на стульях, принаряженные, при галстуках. А на столе… Боже мой, весь стол буквально завален яствами, которые они смогли достать: сыр, колбаса, окорок, пирожные, шоколадные конфеты, яблоки… Я всплеснула руками:

— Не собираетесь ли вы, Александр Данилович, устроить мне танталовы муки за то, что я не подписываю вашего протокола.

Ребята так и грохнули от смеха.

— Вот ее благодарность, — возмутился Щенников. — Никаких мук танталовых. Ешьте сколько влезет. Здесь пирог с мясом, очень вкусный… Это ваш праздник, — серьезно заверил меня Александр Данилович.

— Спасибо! Но почему?..

— Инициатива Шуры Артемова, так что «спасибо» адресуйте ему.

Я с надеждой взглянула на Артемова: может, он сумел что-то доказать начальству и меня выпустят на волю? И Артемов понял мой взгляд (его все поняли) и поспешил мне объяснить.

Оказалось, вышел новый номер журнала «Красноармеец, краснофлотец» и там мой рассказ «Партизанка». Журнал конфисковали.

Один номер прислали сюда, где шло следствие над автором. А рассказ очень всем понравился, даже начальнику НКВД Стромину, и Саша предложил хоть чуть-чуть порадовать автора, устроить читку рассказа и… вечер с угощением.

Начальник разрешил, его как раз вызывали в Москву к самому Ежову.

Щенников устроился на диване, Шура Артемов на его месте, он сам решил читать рассказ.

Я попросила журнал. Иллюстрации были хорошие в рассказе. Ничего не сократили.

— Не везет редколлегии, — заметил Щенников, — шестого автора арестовывают, шестой раз конфисковывают журнал.

— Пусть Валентина Михайловна поест, — решил Шура и налил мне горячего кофе.

Мы ели, беседовали, потом Шура читал рассказ. Меня немного утешило, что журнал все-таки достиг киоскеров и был на этот раз распродан. Выручило то, что автор живет в провинции; у столичных писателей конфисковали журналы сразу, еще до киосков.

Долго я потом вспоминала этот вечер и счастливые синие глаза Артемова. Было так хорошо. Я была, что называется, в ударе, смешила других, смеялась сама.

— Какая же она была на воле? — не выдержал один из них, тот, кто постарше, Константин Иванович. — Если сейчас, в беде, она может быть такой непосредственной, такой веселой… И я, мужчина, дзержинец, член партии, должен спокойно смотреть, больше того, участвовать в этом поганом деле? Черт-те что! Шурка, дай твое заявление. Я тоже подпишу, потом… — (Артемов указал глазами на меня.) — Верно, — глухо сказал Константин Иванович.

Мы сидели далеко за полночь, потом меня отправили в тюрьму, а они разошлись по домам.

Больше они у Щенникова не собирались. И я их перестала встречать. Ни Артемов, ни Константин Иванович больше к Щенникову не заходили.

Не выдержав, я спросила однажды у Александра Даниловича, почему больше не заходит Артемов? Спросила и испугалась: вдруг ответит едко, вроде того, что какое мне дело до Артемова. Но Щенников сказал: «Он в Свердловске».

— А… а Константин Иванович тоже в Свердловске?

— Тоже, — вздохнул Щенников.

В декабре Стромин решил, что со мной пора закругляться. Из нашей «группы» я одна лишь не подписала протокола. И он приказал не давать мне спать.

Происходило это так. Александр Данилович бодрствовал со мной до четырех ночи, затем он уходил домой, а ко мне вызывали конвой. После чего меня запирали в подвальную комнату, похожую на пустой колодец, пока не придет машина. Я стояла на дне, сесть не на что, пол и стены мокрые, в какой-то слизи. Я стояла и час, и два, и три.

Наконец подавали «черный ворон», и меня везли в тюрьму.

Я как раз поспевала к общей оправке, когда камеру вели

умываться. Сразу после оправки — завтрак. Стоило мне прилечь, как сразу же открывалась дверь и меня вызывали на допрос. Но в это время Щенников еще спал дома, и я несколько часов ждала его, опять стоя в «колодце».

Кажется, я в этом «колодце» пребывала больше, чем у Щенникова: ему дали нового подследственного, и он добивался от него к новому году «превышения плана».

Щенников уговаривал меня подписать:

— Ну, Валентина Михайловна, голубушка, сколько вы еще продержитесь, чего зря себя мучить, слишком неравны силы…

Я не спала уже восьмые сутки. Меня втолкнули в «ворон» старого образца: «Не разговаривать!» Там был всего один мужчина, худой, изможденный. С избитым в кровь, опухшим лицом… И среди кровоточащих век синие — о, какие синие! — глаза.

— Господи, да что же это? Это не вы! Это не вы! Ведь вы же в Свердловске?

— Это я, Валентина Михайловна. Это я, Валя. Я все поняла.

— Кто же это вас так? Неужели…

— Нет, не Александр. Я у другого. Редкая сволочь. Безошибочно выбирает самое больное место и бьет со всего розмаха именно по больному месту. Не расстраивайтесь, меня везут к Вишневецкому. А той сволочи больше до меня не добраться.

— Я не спрашиваю, в чем вас обвиняют… Знаю, в несусветной чуши. Но почему они вас арестовали?

— Я подал заявление… просил перевести меня на работу в милицию, хотел быть следователем по уголовным делам. Ну, Стромин вызвал меня к себе… Сказал, что отпустит, но чтоб я откровенно, как старшему другу, сказал ему, почему ухожу из НКВД. Я ведь сын чекиста, отец погиб от руки бандита. Но мой отец работал при Дзержинском, а не при Ягоде. Тогда еще не было массовых арестов невиновных. И я сказал Стромину всю правду, а он… Он, оказывается, записал ее незаметно для меня.

— Так, — хрипло проговорила я, — а Константин Иванович?

— Костя даже не просился перевести в милицию, он перечислил в заявлении все случаи, когда арестовывали невиновных, и сказал, что не может в этом участвовать, просит его освободить.

— Вы в разных камерах?

— В одной… но он сейчас… в тюремной больнице. Ему отбили почки.

— Шура, славный Шура, что же с вами теперь будет? И с Костей?

— Там еще трое из наших ребят, я их уговорил подождать с месяц-другой, чтоб не приписали нам групповое дело. Их теперь вызывают на допрос к той же редкой сволочи, что и меня. Кстати, ты должна его помнить. Это тот, кто хвалился, что женщины у него по трое суток стоят на ногах, хотел, чтобы и ты стояла.

— А я почему-то и подумала, что это именно он.

— Но хватит обо мне, что с тобой?

— Мне не дают спать… девятый день не сплю.

— Мерзавцы! — выругался Шура. — То-то я тебя не сразу узнал. Не знаю, кому понадобилось устраивать нам свидание и с какой целью, но спасибо ему. Дай я поцелую твою руку. — И он дотянулся своими пересохшими разбитыми губами до моей руки. Я поцеловала его.

— Прощай!

— Прощай! Может, свидимся, Шура?

Когда я вошла, пошатываясь от слабости, к Щенникову, он испытующе посмотрел на меня.

Мне было очень плохо, не знаю, как я держалась девятые сутки без сна.

Не выдержал Александр Данилович.

— Слушайте, Валентина Михайловна, я встану в дверях и буду курить, а вы ложитесь на диван и поспите хоть полчаса. Если кто будет к нам идти по коридору — я вас разбужу. Прилягте.

— Нет, так я все равно не усну.

— Ну хоть полежите с закрытыми глазами, вам легче будет.

— Нет.

— Вот вы какая. Другая бы рада была. Ну что мне с вами делать? Я просто не могу видеть, какая вы измученная.

Резко прозвучал телефонный звонок. Щенников слушал не то удивленно, не то испуганно.

— Слушаюсь, — сказал он, — пусть приведут.

— Звонил Вишневецкий, — пояснил Щенников, — дело Артемова передается мне. Его сейчас приведут сюда. Пожалуй, отправлю вас в камеру…

— В какую камеру? — вскричала я. — А то вы не знаете, что я часами простаиваю в ледяном колодце. Оставьте меня хоть здесь пока. И притом мне надо поговорить с вами.

— О чем? Долго?

— Не долго. Можно при Артемове, у меня секретов с вами не может быть.

Ввели Артемова. Меня пересадили на диван, Шуру — на мое место.

— Вы сами попросились ко мне? — спросил Щенников. — Расскажите. Можете звать меня, как и прежде, на ты.

— Я буду соблюдать субординацию, не беспокойтесь. Вышло так. Сегодня с утра я попросился к начальнику тюрьмы. Он меня знает и чуть не заплакал при виде моего лица. Я умолял его связать меня немедленно по телефону с Вишневецким, который приходит на службу рано. Тот сразу дозвонился и просил у Вишневецкого разрешения передать мне трубку. Тот разрешил. Я ему рассказал, что согласен подписать всю эту хреновину в любой день, если меня передадут Щенникову. Вишневецкий обещал всё выполнить, но сказал, что вечером примет меня сначала сам. А пока он послал ко мне врача… Повторяю, я подпишу, когда вы хотите, но не надо сегодня, а то та тварь скажет, что это именно он выбил из меня признание.

«Так оно и есть», — подумала я.

— Хорошо, Саша, — согласился Щенников и обратился ко мне: — О чем вы хотели поговорить?

— Александр Данилович, скажите мне, но только правду. У меня будет настоящий суд или заочный, в виде пресловутой тройки?

— Самый настоящий суд. Выездная Военная коллегия Верховного суда, — заверил меня Щенников. Я вопросительно взглянула на Артемова.

— В данном случае ему можно верить, он, когда дает слово, не лжет.

— Правда, Александр Данилович?

— Честное слово!

— Хорошо. Тогда я… подпишу… Но знайте, что на суде я расскажу, почему я подписала, как мне девять суток не давали спать. Я действительно больше не могу выдержать этой пытки.

Щенников положил передо мной протокол — страниц шесть или семь, — и я четко и разборчиво вывела внизу каждой страницы свою фамилию. И тут же, повинуясь притягательной силе потемневшего взгляда Сашиных глаз, повернулась к Артемову. Он смотрел на меня не то с гневом, не то с какой-то печалью.

— Валентина Михайловна сейчас как птица, у которой отрезали крылья, — сказал он горько. — Да, птица с отрезанными крыльями. Уже не полетишь.

— Сравнение неверно, — возразила я, — ведь я человек, а не птица. Крылья человека — это его душа, его личность, и этого никто не может отнять, никакая на свете тюрьма, если он сам не отдаст свою душу, свое «я». А я никогда не перестану быть сама собой, поверь мне, Саша.

— Верю, — проговорил он.

Прощаясь, я поцеловала Артемова, а сияющий Щенников

пожал мне руку.

Видела я его еще только раз, в день моего суда, 24 января 1938 года.

Судила меня Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством армвоенюриста В. Ульриха.

Судили в этот день руководителей обкома партии, обкома комсомола, секретаря горисполкома, редактора областной газеты и тому подобных. И нашу группу писателей. Вводили всех по одному. Меня привезли накануне в десять вечера, но судили в половине пятого, в конце другого дня.

Щенников вошел — высокий, красивый, ухоженный, благоухающий дорогим одеколоном.

Мне сразу бросились в глаза его нашивки. Что-то было не так. Он это заметил и бросил небрежно: повысили в звании, майор теперь. «Не за наше ли «дело» его повысили?» — подумала я.

Щенников стал очень красноречиво убеждать меня признать себя на суде виновной, что это облегчит мою участь, и, конечно, ни в коем случае не говорить о том, что мне не давали спать. Кроме раздражения, это ничего не вызовет.

Не подействовало. Я все рассказала товарищу Ульриху.

Военная коллегия Верховного суда проходила в здании НКВД, в просторном зале с плотно зашторенными окнами, при электрическом освещении. День превратили в ночь. На низкой сцене — председательствующий Ульрих, по бокам у него по две «пешки», правда тоже высокого звания. Справа, в стороне — секретарь суда за маленьким столиком. Вдоль стен на стульях расселись приглашенные: начальствующий состав НКВД, среди них я увидела Вишневецкого, Щенникова не было. Посреди зала стоял стул, за стулом солдат. Меня поставили перед стулом, и я тотчас села, но меня сразу подняли грубым окриком: «Встать!»

Долго читали обвинительное заключение. Трижды спросили, признаю ли себя виновной. Я трижды ответила: «Нет».

Ульрих сказал:

— Но вы же подписали протокол на предварительном следствии?

Этого вопроса я и ждала. Сразу пояснила, почему и как я подписала. Мне предоставили заключительное слово.

— Как, сейчас? — несказанно удивилась я краткости суда.

— А когда же? — в свою очередь удивился Ульрих. В заключительном слове я сказала все, что нужно, о клеветнике, и о невиновности моей и товарищей по вымышленному делу. Просила разобраться и не рубить слепо сплеча.

Меня удалили на время совещания.

Те десять-пятнадцать минут, что они совещались, показались

мне вечностью. Меня вдруг охватил безумный страх перед тюремным заключением.

«Пусть лучше семь-восемь лет лагеря, чем три года тюрьмы», — ломая пальцы, молила я судьбу.

Меня вызвали, опять долгое чтение обвинения, начиная с истории троцкистского движения в Москве и Зиновьева. Непосредственно наше «дело» занимало последнюю страничку — попытка реставрации капитализма методом террора и диверсии.

И вот приговор… но вот приговор…

— Приговаривается к десяти годам тюремного заключения с последующим…

Дальше ничего не вижу, ничего не помню… Вроде небытие…

Пришла в себя посреди двора. Почему-то сидела на табуретке. Кто-то в кожаном пальто поддерживал меня одной рукой, чтоб не упала, а другой нагибался, брал с земли горсть снега и растирал мне лицо — щеки, лоб.

Увидев, что я пришла в себя, человек этот прижал меня к себе и зашептал в ухо:

— Зачем так обмираешь, дольше трех лет не просидишь, молодая, выдержишь.

— Десять лет тюрьмы! — в ужасе прокричала я.

— Какие десять? Разве такое может долго длиться? Самое большее года два-три, и всех невиновных выпустят. Разве можно так-то. Эх, кабы Дзержинский был жив или Ленин, Ильич наш дорогой. Крепись, крепись, девушка, крепись. Ну, полегчало?..

Меня отвезли в тюрьму. Это уже был другой корпус, для тех, у которых тюремное заключение. Но камеры почему-то оказались не готовы, и нас временно загнали в очень просторную комнату — не то кабинет начальника тюрьмы, не то партком. Там были одни мужчины, и почти каждый получил по двадцать лет. Все дивились, что мне так мало дали, всего-то десять лет! Оказывается, многие получили расстрел, но они были в другом корпусе. И еще у меня было заключение с правом переписки, а у них всех — нет. Один из них, рыжий с зелеными глазами, подошел ко мне и сказал: «ЦК карает, ЦК и милует».

— Вас есть за что карать? Меня, например, карать не за что. Пусть сами себя карают.

Рыжий опешил от моего ответа и, поздравив меня с маленьким сроком, поспешно отошел.

Скоро нас начали разводить по камерам, меня увели одну из первых. Я была единственная женщина с тюремным заключением, поэтому не нашлось сокамерниц. Я оказалась одна, и меня посадили в одиночку.

И все-таки о Щенникове мне пришлось еще раз услышать

довольно подробно перед XXII съездом партии. Меня тогда вдруг вызвали в Военную прокуратуру. Она помещалась на третьем этаже здания КГБ. И когда меня стали допрашивать, почему я так долго не подписывала протоколов, а потом вдруг подписала, — я решила, что это именно КГБ, а никакая не прокуратура.

— Отчего вы вдруг подписали протокол? Что, Щенников бил вас? Или пытал? Или были еще какие методы воздействия?

Я вдруг вспылила:

— Слушайте, меня в 1954 году реабилитировали, понятно? На кой же черт снова поднимать эту историю?! Отказываюсь говорить на эту тему.

— Вы только не волнуйтесь, сейчас я вам всё объясню. Вы разрешите мне закурить?

— Пожалуйста, курите.

Прокурор, добродушного вида мужчина лет сорока, закурил с явным наслаждением трубку и разъяснил мне так:

— Я военный прокурор, у нас до сих пор нет своего помещения, и мы занимаем этаж КГБ. Ваш бывший следователь Щенников при Берии был переведен в Москву и сделал очень большую карьеру, понятно? Это вас удивляет? Удивлю еще больше. В настоящее время он сидит в Бутырках, ведется следствие, и потому понадобились свидетельские показания его бывших подследственных. Но представьте себе, за четверть века из его подследственных в живых остались только двое: мужчина в Тамбове и женщина в Саратове — вы. Обоих сейчас одновременно допрашивают как свидетелей военные прокуратуры Тамбова и Саратова. Вы меня поняли?

— Поняла. Значит, теперь наоборот — в тюрьме сидит Александр Данилович?

— Именно. Я жду от вас правдивых свидетельских показаний.

И я рассказала ему все, что знала о Щенникове. Прокурор слушал недоверчиво и наконец не выдержал:

— Валентина Михайловна, какого черта, простите, вы его выгораживаете?

— Выгораживаю? С чего бы я стала его выгораживать. Но я отродясь ни на кого не наговаривала, чего ради я буду клеветать на собственного следователя?

Он невольно расхохотался:

— Впервые слышу выражение «собственный следователь»… Тот мужчина в Тамбове заявляет, что Щенников зверски избивал его… И он не случайно сделал карьеру при Берии… сами понимаете.

— Отлично понимаю. Но меня-то он не бил. Устраивал читку моего рассказа с угощением… И предлагал хоть полчаса поспать

на диване, когда мне не давали спать… девять суток.

— Значит, вас все-таки пытали, — заметил прокурор.

— Кассиля он избивал, по рассказам тех мужчин в «вороне». Ко мне относился очень тепло. Кстати, пусть это вас не смущает: в лагере ко мне многие отпетые уголовники относились очень хорошо и отнюдь не видели во мне женщину. Просто я чем-то умела вызвать уважение этих уголовников. Их подружки относились так же, нисколько не ревновали.

— Вы что… читаете мысли? Я действительно подумал: может, вы просто нравились ему как женщина?

— Ерунда.

Мы занялись протоколом, там было много поправок, и я потребовала перепечатать. Он отдал машинистке и, пока она печатала, показал мне заявление Зинаиды Кассиль о посмертной реабилитации мужа. Меня просили быть свидетелем.

Я сказала о Кассиле все хорошее, что о нем знала. Промолчала только о смерти. У них была справка, которую прислали жене, что Иосиф умер от воспаления легких. Но я уже знала от Льва Абрамовича Кассиля, что его брат погиб на Колыме в 1943 году при массовом расстреле. Лев Кассиль узнал об этом через знакомого полковника КГБ.

Бедный Иосиф, бедный мученик…

Я никогда не перестану сожалеть о том, что Сталина не судили при жизни как преступника, что он умер своей смертью и оплакиваемый народом. Я не плакала.

Клочок неба

Отныне, в течение долгих-долгих десяти лет, мне предстояло видеть только клочок неба. Кусочек неба над Волгой, перекрещенный решеткой. Окно было закрыто щитком, все же клочок неба был виден. К окну подходить не разрешалось. Лежать днем не разрешалось. Подъем в семь утра, отбой в одиннадцать вечера… Осенью и зимой утомительно хотелось спать.

В камере нас было двое. Спасали книги и беседа — тихая, чтоб не услышали за дверью и не сделали замечания.

У меня от природы громкий голос. По приезде я еще не успела написать маме письмо, как меня лишили переписки на шесть месяцев за громкий разговор.

Мы должны были забыть свои имена, у меня был номер 37 дробь 2.

Лишали библиотеки только за то, что якобы мы подчеркивали ногтем фразы, а мы не подчеркивали никогда, ни разу.

Давали две тетради, когда испишешь — их заменяли новыми.

Раз в месяц камеры обходил начальник тюрьмы — злой, ехидный, ненавидящий заключенных.

Я сказала ему, что пишу в тетрадях маленькие рассказы и стихи в прозе. Некоторые казались мне удачными, и я просила его сохранить тетради до моего выхода из тюрьмы. Лицо его перекосилось.

— Пока вы отсюда выйдете, эти тетради сгниют, — отчеканил он злобно.

— Вы так думаете? Я смотрю на будущее более оптимистично.

Разговор этот стоил нам карцера обеим… в тот же день. За то, что мы якобы кормили голубков.

Мы их не кормили и к окну не подходили. Так выбивали из нас излишний оптимизм.

Такова была ярославская тюрьма для отсидки, у кого было тюремное заключение.

Единственным утешением для нас была большая дружба, книги и клочок неба за решеткой.

Маргарита Турышева сидела в этой камере с 1936 года одна и все время смиренно умоляла начальника дать ей товарища по камере.

Когда меня привезли, мне тоже приготовили одиночку, но в моих документах было заключение медицинской комиссии о том, что одиночка мне противопоказана. Маргарита удивилась, почему

мне противопоказана одиночка. Спросила, как и почему мне выдали свидетельство. Я рассказала. Не без юмора. Она то ахала, то смеялась…

После суда меня привезли в корпус, где сидели лишь с тюремным заключением. Большой четырехэтажный корпус, но я оказалась единственной женщиной. Не сажать же меня с мужчинами. Так я оказалась в одиночке.

После тяжелого суда, после которого я потеряла сознание, нервы были расшатаны вконец — а тут одиночка! Переносила ее крайне тяжело. На меня напал страх. И вот, идя с оправки, я кружкой перебила все стекла в многочисленных переплетах рам. Растерянные надзиратели только таращили на меня глаза. Кто-то вызвал начальника тюрьмы. Я ему заявила, что сидеть в одиночке я не могу. Он предложил пока зайти, а они, дескать, разберутся. Заходить я отказалась наотрез. Как только они приближались ко мне, чтобы завести силой, я вопила на всю тюрьму. Кричала: «Сажайте хоть с бандитами, но в одиночке я не могу!» Орала так громко, что все мужское население тюрьмы узнало мой голос и поняло, в чем дело. Началось что-то неимоверное, что в тюрьмах бывало только до революции, — обструкция. Заключенные стучали в двери руками, ногами, табуретками, разбивая их в щепы, кричали на всю тюрьму: «Не смейте держать женщину в одиночке!» Побледневший, перепуганный начальник махнул рукой, велел дать мне стул и отправился к телефону звонить в тюремную больницу, чтобы меня забрали. Минут через десять я оказалась в больнице, где меня лечили от нервного потрясения. И врачебная комиссия выдала документ, что мне одиночка противопоказана. И вот меня посадили к Маргарите (37 дробь 1). Радость ее была беспредельна. А я с изумлением смотрела на нее.

— Сикстинская мадонна! — воскликнула я.

— Неужели сходство еще осталось? Ведь я так исхудала…

— Вам и раньше говорили?

— Да, я случайно похожа на ту женщину, с которой Рафаэль писал свою мадонну.

Весь день мы рассказывали друг другу о себе, знакомились. Водили нас на прогулку. Двадцать минут. Крохотный дворик, каменная стена, цементный пол и клочок неба, немного побольше, чем в окне.

— Однажды в этом дворе ухитрилась вырасти ромашка, — рассказывала мне потом Маргарита, — какая-то трещина, расселина, и она выросла. Два дня я любовалась этой ромашкой. А потом начальник увидел ее и велел вырвать с корнем. Это страшный человек!

— Откуда ты знаешь, что это он велел?

— Я глазами искала эту ромашку, и дежурный понял. Он тихонько объяснил, что начальник велел ее убрать.

— Убить! Если бы его за это не осудили, он бы и нас поубивал. Настоящий фашист.

— Неужели мы будем сидеть здесь весь срок?

— Не знаю. Но знаю одно: не дам погубить себя как личность. Ведь я писатель, а впереди много лет жизни, — проговорила я то, что уже не раз говорила себе мысленно. — Знаешь что, Ритонька, давай-ка учиться, чтоб время не пропало зря.

Когда нам меняли в окошечке книги, мы попросили каталог библиотечных книг, выписали много нужных книг и приложили заявление на прилагаемом библиотекой листке-анкете, где просили наши четыре книги чередовать следующим образом: одну из естественных наук, одну из гуманитарных (история, философия или политэкономия), одну из поэзии и четвертую — художественную прозу. Книги брать из выписанных в анкете.

Нам так и стали приносить, и мы старательно занимались, экзаменуя друг друга.

Когда уставали, некоторое время сидели молча, слушая Волгу. Тюрьма стояла на берегу реки. Откуда мы это знали? Крики чаек за окном; низкие, басовитые в тонкие пронзительные звуки музыки с палубы проходящих мимо пароходов. Но никогда мы не слышали крики или голоса людей. И поняли: тюрьма на берегу Волги, но далеко от города.

В ту зиму я получила письмо с известием о смерти отца. Он так и не дождался меня. Я любила отца и очень тосковала и плакала о нем. Той же зимой в Севастополе умер мой брат Ермак.

Я безумно боялась, что, пока я выйду, умрет мама или сестра Поплия. И это сильно меня удручало и угнетало.

Маргарита всячески старалась отвлечь меня от моих дум.

Она рассказала мне свою историю. Родилась и выросла она в Свердловске. Окончила балетное училище, три года работала в Свердловском театре оперы и балета. Но у нее оказалось больное сердце, и врачи категорически запретили ей танцевать.

Тогда она поступила на третий курс геологического техникума, окончила его и, уже не обращая внимания на сердце, участвовала в нескольких геологических экспедициях на Северном Урале.

Зимой она работала в Свердловске, обрабатывала летние наблюдения.

Вот тогда она и познакомилась с Олегом Тенешевым, москвичом, кандидатом геологических наук. Кандидатскую он блестяще защитил в двадцать четыре года, а в двадцать пять лет подготовил докторскую, но по совету академика, курировавшего

его диссертацию, отложил ее на несколько лет.

— Не надо дразнить гусей, — серьезно сказал ему академик, — у тебя и так уж слишком много завистников, Олег… Меня это беспокоит… Боюсь завистников.

Да, зависть — вот что сгубило Олега. Еще бы ему не завидовать: хорош собою, умен, талантлив, способен, добр.

Маргарита влюбилась в него с первого взгляда…

— Не верилось мне, что он меня тоже полюбил, — признавалась она. — Сначала он ездил в Свердловск, измышляя себе причины для всяческих командировок. А потом мы объяснились. Решили пожениться. Как я была счастлива!.. Олег встретил меня с двумя друзьями на вокзале, и мы поехали прямо в загс, где нас зарегистрировали. Дома (он жил на улице Герцена) мы поднялись на третий этаж, он нес меня на руках, а его друзья, улыбаясь, несли мои вещи: два чемодана — один с платьями, другой с любимыми книгами.

Дверь нам открыл незнакомый ему мужчина… В доме шел обыск. А его друзья с растерянными лицами сидели за накрытым свадебным столом и с ужасом и сочувствием смотрели на него и меня. Нас арестовали обоих.

Мне не дали статью как жене — ЧСИР (член семьи изменника Родины). Нет, мне дали самостоятельное дело. Они сказали, что брак — это нарочно, камуфляж, что я не жена вовсе, а просто соучастница, понимаешь? Какие-то троцкисты, которых я сроду не видела… Боже мой! Был суд. Олегу дали расстрел. А мне десять лет тюремного заключения. Сижу здесь третий год.

— А Олег?

— Приговор приведен в исполнение, нет больше на свете моего Олежки. А как мы могли быть счастливы… Слышишь, как кричат чайки? Наверно, к ненастью.

Над невидимой Волгой летали и кричали чайки, а на небе сгущались грозовые тучи, а потом на землю опустилась ночь и клочок неба исчез в ночном тумане.

Было беспредельно тяжело, но в камере все же горел электрический свет, а на столике лежал томик Александра Блока.

Я развернула книгу и стала читать вслух:

О, весна, без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю
И приветствую звоном щита!..
Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий

И томление рабьих трудов!..
И смотрю и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя.
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно принимаю тебя.

И все же как ни плохо было в тюрьме, как ни тянулись тягостные дни, когда будущее представлялось черной угрюмой горой, которую ни обойти, ни перейти, — все же, повторяю, молодость брала свое. Мы много смеялись, находя повод для смеха и в прошлом, и в книгах, и даже в окружающем нас быте.

Однажды, когда мы заливались смехом (не помню, по какому поводу), открылось окошечко в двери. Мы замерли: замечание? Но в окошечко заглянуло молодое симпатичное лицо девушки, она поманила нас к двери.

— Молодцы вы, Ритонька и Валюша!.. Ох, как противно называть хороших, добрых людей номерами, словно они вещи на складе! Послушаю у двери, и мне легче. Меня как комсомолку мобилизовали сюда надзирателем и никак не отпускают — некем заменить. Какой порядочный человек пойдет сюда работать добровольно: одни невинные сидят. Сумасшедшие, что ли, нами правят? Почему нам под страхом ареста запрещено с вами разговаривать? Крепитесь. Здоровья желаю вам.

Когда же она вела нас на прогулку, лицо ее было строгим и непроницаемым: рядом стоял дежурный заместитель начальника тюрьмы.

И все-таки месяц спустя она выбрала время поговорить с нами.

— Снимают меня отсюда, — и радостно, и как-то скорбно сообщила она. — И замену сразу нашли. Дядю моего арестовали. Старый большевик, он при царе тринадцать лет сидел с тысяча девятьсот пятого по семнадцатый, Революция освободила — и вот теперь пожалуйста!.. Одна радость, что отсюда ухожу.

— Вы добрая, ласковая, славная, спасибо вам! — сказала я. — Но, знаете что… не поступайте здесь на работу; как рассчитаетесь, уезжайте из Ярославля куда-нибудь в другой город.

— А мама? Одна останется?

— С ней вместе уезжайте.

— Вы думаете? — Глаза ее, в которых было что-то детское, расширились.

— Я почти уверена. У вас есть здесь еще родные?

— Мамина сестра.

— Оставьте вещи тете на сохранение и уезжайте немедленно, не откладывая даже на три дня. Поняли? Разъясните это маме.

— Боюсь, что вы правы. У нас уже был такой случай… как же я это забыла. Спасибо!

Мы пожали друг другу руки через маленькое окошечко в двери, и она ушла.

Больше мы ее не видели. Не знаю, что с ней случилось.

А нам стало еще тоскливее, и мы, как никогда, жадно смотрели на клочок неба за решеткой. Он окрасился майской синевой. По Волге уже шли пароходы, и гудки их звали с собою, и звучала музыка с проходящих судов… А чайки кричали страстно и нежно.

— Так вся молодость пройдет! — однажды заплакала вдруг Рита. Чем я могла утешить ее?

Все успокоительные слова были сказаны мною давно. И я смотрела на клочок неба за решеткой. Как же счастливы те, кто видит небо целиком.

Огромное небо, что так потрясает человека, если долго смотреть в него. И вопрошать. Слишком было много вопросов, на которые не существовало ответов. Той весной вопросы так и сыпались. Особенно меня мучил один… Я любила свою Родину — Россию, это было естественно, ведь я русская. Но я не знала, могу ли я любить и уважать свой народ.

Доброе слово

Когда Маргариту увели, я упала на койку и в отчаянии расплакалась. Случилось то, чего мы больше всего боялись: заметят нашу дружбу и нарочно разведут по разным камерам. Дружба давала огромную радость, а радость в тюрьме не терпели.

Неужели я больше никогда не увижу Маргариту? От горя словно ослепла. В чувство меня привел лязг отпираемого замка. Я едва успела соскочить с постели (днем не полагалось лежать) и вытереть слезы, как в камеру вошли.

— Тридцать семь-два, пройдите за мной! — приказал дежурный.

Во мне шевельнулась надежда: может, это просто карцер. А потом приведут назад и мы опять будем вместе.

Правда, сажать в карцер было не за что. Никаких нарушении мы не делали. Но я уже знала подлый здешнего начальства. Оно было неистощимо на злобные выдумки.

Когда меня привезли в апреле 1938 года в ярославскую тюрьму, я сразу попросила конверт и бумаги — написать маме письмо. Уже около года я была арестована, и она не знала, жива ли я, куда меня завезли.

Дежурный по корпусу сказал, что бумагу дают по пятницам. Но до пятницы они лишили меня права писать на полгода за мой громкий голос (я еще не привыкла говорить шепотом). Потом нас лишали «лавочки» на три месяца — уж не помню за что. В «лавочке» был хлеб, масло, сахар. Мы очень страдали от скудного тюремного пайка.

Так и оказалось — карцер. Мы спустились в подвалы и, пройдя длинным мрачным коридором, где пахло плесенью и какой-то застоявшейся, промозглой сыростью, вошли в карцер.

— Трое суток за то, что кормили голубков, — прочли мне приказ.

— Но мы не кормили! К окну даже не подходили. Дежурный пожал плечами и ушел. Вошли две мужеподобные надзирательницы, велели раздеться донага, весьма тщательно обыскали, бросили мне какую-то одежонку, а мою унесли. Лязгая зубами от холода, я поспешно оделась. Мне выдали короткую бязевую сорочку с оборванной лямкой, простиранный до дыр халатик, едва достигающий колен, и огромные лапти. Всё — ни чулок, ни какого-либо белья не дали. Но я вначале не придала этому особого значения. Я была так рада, что это лишь только карцер и через три дня я снова буду со своим другом. Это просто очередная гнусная жестокость — и ее надо пережить!..

Ноги у меня сразу окоченели. Я посмотрела на лапти: настоящие деревенские, из лыка. Интересно, кто их плел? Не на фабрике же делают лапти. Если бы хоть чулки дали…

Маргарита потом мне рассказала, что она, как только начала мерзнуть, надела халат «наоборот» — ноги в рукава, а потом укутала плечи, руки и грудь. Она очень расстраивалась, боясь, что я так не догадаюсь сделать. Так и вышло: я не догадалась. Карцер был два метра на два, без окон, так как находился под землей. Ни батареи, ни печи. На дворе стоял декабрь. Над толстой железной дверью, за решеткой, слабо светила электрическая лампочка, отбрасывая решетчатые тени. Летом здесь, наверное, текла со стен вода, а сейчас давно уже все обледенело: и каменные стены, и каменный пол.

В карцере, кроме открытой «параши», ничего не было — ни табурета, ни тюфяка.

Сначала я ходила, пока не закружилась голова. Я облокотилась о дверную притолоку. Сразу открылся «волчок», и мне велели отойти от двери: не полагается.

…Ночи, казалось, не будет конца, но все же я ее выстояла. Выстояла и следующий день. Временами меня охватывала крупная мучительная дрожь. Я делала гимнастику, чтоб согреться, — бег на месте. Но потом я настолько устала, что уже и это делать не могла. Иногда я глубоко задумывалась и тогда словно перескакивала через время.

За несколько дней перед тем я прочла замечательную поэтическую статью Паустовского о Грине. Не помню, как она называлась. Из нее я узнала, что Александр Грин с осени 1930 года и до самой смерти жил в Старом Крыму и сильно тосковал о людях. Его терзали сомнения: нужно ли его творчество современникам…

То, что я прочла, буквально потрясло меня. Все эти годы мы жили в Феодосии, в получасе езды от любимого писателя. Время это было тяжелое, и мы часто голодали. Помню, в 1932 году продали на толкучке все, что у нас было, кроме книг. Летом варили щи из лебеды. Однажды так получилось, что мы со вчерашнего дня совсем ничего не ели. К вечеру маме удалось занять пять рублей. Мы втроем — я, мама и сестра — отправились на базар. Дорогой мы сговорились, что купить: две ржаные лепешки (по два рубля штука) и кучку хамсы за рубль. Но при входе на шумливый феодосийский базарчик какой-то красноносый пьянчуга в разлетайке предложил нам «Золотую цепь» Грина.

Я сразу так вцепилась в книгу, что мама, взглянув на меня, поняла — добровольно я ее не отдам, и со вздохом протянула

владельцу «Золотой цепи» пять рублей.

Весь вечер мы по очереди читали вслух. Гудело море, ветер стучал по кровле оторвавшимся листом железа. Мама слушала, ахала, восторгалась, а сама лазила по ящикам в поисках съестного и вдруг нашла огромную пачку фруктового чая. Мы бережно разделили его на три части, съели и продолжали читать. Нам так понравился этот роман, что, и лежа в постели, мы продолжали о нем говорить. Мы почему-то думали, что такой чудесный писатель, как Грин, живет в Москве. А он был так близко! Да мы пешком бы к нему пошли, если бы только могли подозревать, что он одинок и нуждается в любви и восхищении…

И вот в карцере мне опять стало обидно за Грина, и я начала слагать о нем поэму. Я толкалась беспорядочно из угла в угол и бормотала рождающиеся слова:

Забытый городок. Весь в зарослях ореха.
Бегущие холмы и старый тихий дом.
Здесь каждый вздох повторит смутно эхо
И листья осенью шуршали под окном.
Одна гравюра в комнате пустынной —
Портрет Эдгара По —
И яркий лунный свет.
Здесь умирал в печали неизбывной
мечтатель, нищий и поэт.
Мечте своей до смерти верный,
Непонятый, как Дон-Кихот,
Тоску и боль вкусив без меры,
В последний уходил поход.
Жизнь, полная невзгод, обид и муки.
Одна мечта ему безмерно дорога.
Никем не слышимые впитывал он звуки.
Незримые он видел берега.
Лишь родины его белесые леса.
Печаль и ложь приземистых построек,
Какие звали голоса!.. Как долог день,
И сумрачен, и горек.
А голод цепкий и упорный,
Что гложет до бессильных слез.
В ночлежке тесной и зловонной
Почуять свежий запах роз.
Бродяги с ним делились водкой.
А ночью драки на песке.
И, скорчившись, дрожать под лодкой
И зубы стискивать в тоске.

Труд непосильный и бесплодный.
Дороги, тюрьмы, ссылка, нищета.
Искусством он, униженный, голодный,
От жизни заслонился, как щитом.
И расцвели невиданные склоны.
К ним алые скользили паруса.
Могучие солевые циклоны,
Тропические яркие леса.
Шел по холмам бродяга беззаботный.
Он песнь веселую с рассветом заводил.
Матрос по гавани блуждал, ища работы,
И золотую цепь случайно находил.
Там чистая Ассоль, как он, мечтать умела
И чуда ждать,
Как завтрашний ждут день.
И песнь о счастии навстречу ей гремела,
И звали паруса под радостную тень.
И на прибрежии из бревен старый дом,
Где полка книг и шкур звериных блеск,
И с другом пополам распить бутылку рома
И слушать в тишине
Прибоя мерный всплеск.
Крепчает ураган.
Поскрипывают снасти.
Поет Бит-Бой, прощаясь навсегда.
Не молит он униженно о счастье,
Хоть жизнь его —
Дорога никуда.

Поэму эту я закончила уже в лагере. Писала на фанерке вместо бумаги, потом запоминала наизусть. Помню, что женщинам в нашем бараке очень понравилась, почти до слез. Может быть, они нашли что-то общее в судьбе Александра Грина и своей…

Дорога никуда… Неужели и моя жизнь окончится дорогой никуда и я, подобно Тиррею Давинанту, погибну в тюрьме?

Я вдруг почувствовала полное изнеможение. Ноги уже не держали больше. Они распухли и почернели, стали как чугунные. Лечь на цементный пол? Можно застудить почки или легкие. В конце концов я упала. Не знаю, был ли это день или ночь. Наверное, уже прошло двое суток, потому что мне дважды приносили пищу: кружка леденящей воды и триста граммов хлеба. Есть мне совсем не хотелось, только спать… Меня

мучительно лихорадило.

Я легла на бок, подложив под голову руку и поджав окоченевшие ноги. Но только я заснула, ноги стало сводить судорогой. С криком я проснулась и начала растирать икры. Внезапно мне пришло в голову: может, Маргарита в соседнем карцере и мучается рядом со мной? Я попробовала постучать в стены, но никто не отозвался.

Тихо и холодно, как в могиле.

Зачем это всё? К чему эти бесполезные страдания? Кому от них польза? Родине? Народу? Партии? Во имя чего меня так мучают?

Потом я вовсе потеряла всякое представление о времени…

Мне казалось, что прошло много дней, меня здесь забыли и бросили умышленно, пока не умру.

У меня начиналось что-то вроде бреда, я слышала, как разговаривают дома мама, сестра Лика, брат… Они не знали, что я их слышу. Они, кажется, сидели за столом и говорили о самом обыденном. Лике нужно было купить пальто. Потом мама спросила: сколько времени и сколько еще ждать?

Было так необыкновенно отрадно слышать родные голоса, что я сидела на цементе и улыбалась от счастья. Я могла бы продлить это, но подумала, что так, чего доброго, и с ума можно сойти. Кое-как поднявшись с пола, я опять встала на мои бедные почерневшие ноги.

Я начала громко читать «Флейту позвоночника» Маяковского, и голоса умолкли. Что ж, я сама их прогнала. Надо было бы послушать еще, хоть часок! Не сошла бы сразу с ума!

И тогда меня охватил гнев на людей: горькое сознание их жестокости. Живут как ни в чем не бывало! Ходят по улицам, работают, женятся, радуются — равнодушные, бессердечные, всё оправдывающие. Это был первый и последний раз в моей жизни, когда я осудила народ. Никогда не забуду поистине страшного чувства одиночества, охватившего меня, едва я осудила народ. Значит, до сих пор, и в тюрьме, я была с ним, сама — народ, как частица его тела.

Я снова засыпала, сжавшись в комочек на цементе, пока спасительная судорога не будила меня, совсем охладевшую.

Опасный это был момент, когда могла охладеть и душа. И уже почти охладела. И вдруг открылось окошечко в железной двери и я увидела смущенное лицо конвойного. По виду это был паренек из деревни: простодушный, веснушчатый, с детскими пухлыми губами. На вздернутом носу выступили бисеринки пота: он сильно волновался. Надзирателям категорически не разрешалось вступать в разговоры с заключенными, и он

торопился.

— На, выпей скорей. Не плачь, не одна ведь! Тут пожилые сидят. Комсомолец я… Вот послали с завода сюда работать. Не знаю, как здыхаться от всего этого.

И он протянул мне пол-литровую кружку дымящегося ароматного кофе. Им приносили кофе в ночное дежурство, чтоб не клонило ко сну. Я пила, обжигаясь, всхлипывая, этот густой, как сироп (он, видимо, натолкал в него побольше сахара), горячий кофе, и мне становилось все легче и легче. До чего вовремя пришел этот ярославский комсомолец со своей кружкой горячего кофе: душу он мне согрел.

Я не знала тогда, что еще восемнадцать лет ходить мне по мукам, и странность моей судьбы в том, что, как только я готова была ожесточиться, возле меня находился человек, который спасал меня добрым словом.

Спасите наши души

Посадка на «Джурму» должна была происходить в семь часов вечера. К тому времени мы, шестьсот женщин, были уже на пирсе. Две тысячи мужчин сидели на берегу в ожидании посадки. Сюда, в гавань, должен был доноситься шум большого приморского города — все же Владивосток, — но мне почему-то помнится тишина. И запах моря.

Мы все устали ждать посадки, тем более что большинство из нас переболели в лагере брюшным тифом, а двадцать девять человек — в том числе я и Маргарита Турышева — были взяты прямо из больницы, несмотря на протесты врача.

Вдруг на корабле раздались звуки корабельного колокола — рынды, крики, и над «Джурмой» взметнулось пламя.

— Вот так раз — на «Джурме» пожар! — воскликнул кто-то из конвоя. — Теперь ждать, когда затушат.

Потушили в два часа ночи, и нас, измученных, злых, обессиленных, кое-как погрузили на корабль. Разместили в трюме.

Нары в три ряда, но места всем не хватило. Ритонька, я и Тамара Алексеевна, врач по профессии, разместились на железном полу трюма в уголке возле лестницы — показалось, что здесь больше воздуха. Расстелили под себя платки и уснули тяжелым сном.

А когда проснулись, узнали, что можно выходить на палубу, чем мы потом и воспользовались. Мы шли Японским морем, слева бесконечной грядой тянулись туманные, скалистые, голубые берега.

Женщины в нашем трюме были самых разнообразных статей и вели себя по-разному — совсем не похоже. Те, у кого была 58-я статья, беседовали, или шили, или вышивали. Монашки и сидящие за веру молились или молчали. Уголовницы почти весь день плясали цыганочку — одни хлопали в ладоши и напевали мотив, другие плясали, потом менялись… Прошли Татарский пролив. Волны бушевали яростно, гневно, будто хотели разбить этот огромный океанский корабль. Горизонт вставал поперек неба тонкой чертой, но не было больше видно голубых далеких берегов. Только бездонное небо и недобрая водная стихия. К вечеру все как-то притихли, примолкли, задумались. И вдруг из трюма, где были заперты мужчины, донесся чудесный задушевный голос.

— Какой голос! — восторженно воскликнула Тамара

Алексеевна. — Баритональный тенор. Голос молодой, но он — оперный певец, ручаюсь.

— Подождите… потом.

Все замерли, слушая. Исполнял певец отнюдь не оперную арию, то была народная песня. И пел он ее по-своему.

Раскинулось море широко,
И берег наш скрылся вдали.
Товарищ, мы едем далеко
От нашей родимой земли.

Сколько невыразимой тоски в этих простых словах. Незримый певец не окончил эту песню. Что-то ему помешало или кто-то помешал. Может, мужчины тоже откровенно плакали, как плакали в нашем трюме многие женщины?

Через несколько минут он снова запел. Это была «Ой, полным-полна моя коробушка…» и другие народные песни.

Однако утром, наверное по просьбе товарищей, он все же спел эту первую песню до конца.

Напрасно ждет сына старушка домой.
Ей скажут, она зарыдает.
А волны бегут от винта за кормой
И, пенясь, вдали исчезают…

А потом вдруг раздались выстрелы, рында, крики «Пожар!», «Горим!».

Так на «Джурме» начался пожар.

После, в Магадане, был суд и мы узнали, как было дело. Так вот, мерзавцы, имеющие отношение к трюму, куда был погружен шоколад для магазинов Магадана, шоколад продали и, чтоб скрыть следы кражи, подожгли этот трюм — это был первый пожар на берегу.

Пожар тогда затушили, но искра где-то еще тлела. Второй пожар разгорался как-то исподтишка, незаметно, но потом внезапно охватил сразу всю корму. Сначала команда тушила его, а потом только изолировала, чтоб не распространялся дальше.

День и ночь радист слал в эфир отчаянные SOS, SOS, SOS…

Что это значит: SOS? спросила меня старая монашка.

— SOS — это переводится как «Спасите наши души»… — объяснила я. У монашки расширились глаза.

— Какие хорошие слова — «Спасите наши души!» И я буду молиться Богу об этом.

Они уже опять пели свои псалмы. А «воровки в законе» плясали цыганочку с утра до ночи, пока не падали от усталости и не ложились спать.

К нам спустился капитан «Джурмы» (к сожалению, не помню теперь его имени, хотя не забывала его никогда). Высокий, широкоплечий, с типично русским лицом, сероглазый, русоволосый, добрый и умный… Капитан приветливо поздоровался и спросил, есть ли среди нас медицинские работники?

— Я врач, — поднялась навстречу ему Тамара Алексеевна.

— Какая специальность?

— Терапевт и хирург.

— Ох как хорошо. Вы поможете нам? Многие из команды пострадали на пожаре.

Он увел Тамару Алексеевну. Ей дали отдельную каютку, питалась она теперь вместе с капитаном и его помощниками в кают-компании. Нас, конечно, не забывала, забегала. От нее мы и узнали подробности трагедии, разыгравшейся в трюме мужчин.

Мужчин было две тысячи. Трюм хотя и большой, но едва вмещал всех. Когда железный пол стал нагреваться, как раскаленная плита, а снизу во все щели пополз дым, мужчины ринулись по лестнице наверх. На посту стоял парень лет двадцати, он крикнул: «Назад, а то буду стрелять!» Верхние хотели податься назад, но снизу напирали — лестница была забита людьми.

— Назад! — Парень открыл стрельбу и убил пятерых. Тогда на лестнице началось дикое столкновение: одни ринулись вниз, другие рвались вверх.

Лестница обрушилась и задавила несколько человек. Парень запер трюм и пошел искать начальство. Пока их отперли и вывели, еще несколько десятков заключенных задохнулись от дыма. Расстроенный капитан пришел к нам:

— Женщины, я моряк, на корабле трупы ваших товарищей. Я не могу выбросить их за борт, как рухлядь! Я должен похоронить их как людей, умерших в море. Сейчас я дам вам парусину, иголки и суровые нитки, а вы сошьете для них саваны.

— Конечно сошьем, — хором ответили мы. И сшили ровно сто шестьдесят мешков-саванов. После всего этого уголовницы еще более дико плясали цыганочку. А я… я все ждала, не раздастся ли тот дивный голос. Но он больше никогда не пел. Мы спросили у капитана, и он сказал, что певец был в первой пятерке — той самой, которую расстрелял часовой…

Когда в нашем трюме тоже стал накаляться пол и повалил густой дым, паники никакой не было — староста спокойно

поднялась к дежурному солдату и попросила срочно оповестить начальство, а пока не закрывать нас в трюме, чтоб мы не задохнулись, как мужчины.

Начальство появилось тотчас, и нас сразу же перевели на палубу, а трюм законопатили.

Но я чуть не забыла рассказать об очень важном. В эту последнюю ночь к нам в трюм проскользнула Тамара Алексеевна, легла между мной и Маргаритой, уткнулась лицом в носовой платок и так сильно плакала, что все ее худенькое тело буквально сотрясалось от рыдании.

— Тамара Алексеевна, родная, что с вами? Что случилось? — шептали мы и гладили ее по волосам, пытаясь успокоить. Немного придя в себя, она тихонько рассказала нам следующее…

С момента пожара на «Джурме» в эфир шли непрерывные: SOS, SOS, SOS… «Спасите наши души». Сначала нашу «Джурму» вызвался спасти японский корабль. Но начальник охраны отказался от этой помощи наотрез, и японцы ушли в свои воды. Затем на горизонте появилось наше советское судно, шедшее из бухты Нагаева во Владивосток. Оно было перегружено золотом с золотых приисков Колымы по ватерлинию, но предлагало свою помощь. Больше кораблей не откликнулось… ни одного.

С капитаном «золотого» судна беседовал по радио начальник охраны, капитан считал вполне естественным для спасения двух тысяч шестисот заключенных и команды сбросить часть золота в океан. Начальник охраны не взял на себя такую ответственность и радировал самому Ежову… Ежов доложил о происходящем уже самому Сталину. Последний был слишком мудр, чтоб долго думать, и принял не столько соломоново, сколько иродово решение: корабль с золотом пусть следует за «Джурмой» на достаточном расстоянии, чтоб не загореться самому. Когда «Джурме» придет конец, команда пересядет на спасительный корабль с золотом (команды осталось всего двадцать три человека!), а груз… то есть заключенных, оставить на «Джурме» — гореть, взрываться или тонуть, что суждено. Капитан был потрясен…

— Но команда сходит последней, — возразил он, — и у нас не груз, а живые люди, наши пассажиры.

— У тебя не пассажиры, капитан, а зека. Это большая разница, — разъяснили ему…

Рассказав все это, Тамара Алексеевна еще горше заплакала.

Меня ни к селу ни к городу (крайне неуместно!!!) разобрал смех. Милая докторша вытерла слезы, увидев это:

— Валька, что ты здесь ухитрилась найти смешное?

— Значит, Он не считает нас за людей, — с горечью

прошептала Маргарита.

— Успокойся, Ритонька, а крестьян он считает за людей? А рабочий класс? А интеллигенцию? Уничтожает лучших с особой яростью. Честно говоря, я боюсь за нашего капитана.

Я больше не смеялась, мне хотелось плакать. Утром нас перевели на палубу, и первое, что я увидела на горизонте, — корабль с золотом.

Он шел на довольно близком расстоянии; когда ветер дул в его сторону, искры нашего пожара почти достигали его.

О «мудром» решении вождя мы трое никому не говорили, но откуда-то всё узнали уголовницы (видимо, проговорились матросы) и рассказали остальным.

Некоторые не верили: «Ах, не мог Сталин наш любимый так поступить!..»

Уголовницы притихли и уже не плясали цыганочку. А потом было общее собрание, в нескольких метрах от нас, на этой же палубе.

Кают-компанию превратили в лазарет, чуть ли не половина корабля пылала яростным костром под стать этому великому морю.

Дым и пламя доставали до туч…

Капитан коротко передал команде решение Иосифа Виссарионовича.

— Я моряк, — сказал он просто, — я капитан и сойду с судна последним. Кто хочет, может отправиться сейчас на другое судно, лодки целы и сейчас будут спущены за борт. Подойдите к борту, кто уходит. Ну? Я жду…

Никто не сдвинулся с места. Матросы угрюмо молчали.

Слышался треск горящего дерева, буханье волн и тоскливый свист ветра.

— А ты напрасно обижаешь людей, капитан, — вдруг сказал веселый кок Гарри Боцманов. — Мы все тут тоже моряки и сойдем с этого несчастного судна лишь после… наших пассажиров.

Неожиданно к капитану подошел начальник конвоя, смущенный, с бледным, перекошенным лицом.

— Я не моряк, — хрипло сказал он. — Переправьте меня на другое судно.

С ним пожелали отправиться и другие работники охраны.

— Кого охранять? — сказал один, как бы в оправдание. — Куда им бежать?

— Лодки можно забрать, — быстро согласился начальник конвоя. — Куда им бежать. Мы будем их охранять с того парохода…

С ними отплыли еще трое — буфетчик и какие-то торговые агенты, наверное те самые, что продали шоколад для магазинов на рынках Владивостока, а потом подожгли кладовую.

Перепуганные насмерть, они умоляли начальника конвоя взять их с собой, доказывая, что иначе команда их непременно бросит в огонь, а они должны быть судимы…

— Возьмите этих акул с собой… В данном случае я не ручаюсь не только за своих людей, но даже за себя… — сказал капитан.

И они уехали, забрав с собой все свободные лодки. Капитан вздохнул с явным облегчением и опустился на палубу, где разместились заключенные мужчины.

Капитан просил их помочь команде, которая выбилась из сил: вели корабль на предельной скорости и круглые сутки боролись с бушующим пламенем.

Мужчины охотно согласились, среди них оказались в моряки и механики, нашлись повара, чтоб помочь Гарри, нашлись среди них и врачи.

Женщины тоже предлагали свои услуги. Правда, большинство болели: давал еще себя знать брюшной тиф и очень мучила морская болезнь. Охотское море было сурово и беспокойно. «Джурма» то взбиралась на снежно-белый вал высотой с двух-трехэтажный дом, то проваливалась в темную пропасть рядом, и тошнота, дурнота доводили до полного изнеможения.

Иногда море давало нам короткую передышку, и тотчас являлся кок Гарри с очередной порцией еды. Кормили нас, как в ресторане. По предложению кока Гарри готовили из тех продуктов, которые, как говорили на корабле, везли для начальства Магадана.

— Остальная вся пища просто сгорела, — подмигивая, объяснил Гарри.

Не забуду, как он появлялся перед нами, веселый, синеглазый, круглолицый, веснушчатый, и не без волнения осведомлялся, понравился ли нам обед.

— Очень вкусно!!! Спасибо!!! — хором отвечали мы.

— Ну что ж, покормлю вас еще разок-другой, а потом, наверное, сам пойду рыб кормить…

— Никогда капитан этого не допустит.

Я верила капитану. Мы все верили капитану, ну может, больше, чем матросы. Среди двух тысяч заключенных мужчин около половины были уголовники, а какая дисциплина царила на судне в эти страшные дни! Женщины одна за другой, кроме тех, кто, вроде меня, температурил, тоже постепенно включались в

работу — кто помогал готовить на кухне, кто мыл посуду или палубу, даже помогали тем, кто был день и ночь на тушении пожара — не давали огню идти дальше, охватывать весь корабль.

Судно с золотом держалось теперь заметно дальше от нас, у самой линии горизонта. Но неуклонно шло за нами, не знаю почему… Ведь команда, в их глазах, была уже обречена. Мы шли на недозволенной скорости, рискуя каждую минуту взорваться, взлететь на воздух.

— Как по-твоему, Валя, мы взорвемся, сгорим или потонем? — спросила меня Рита.

Она заметно сдала за эти дни. Но все же ходила дежурить на камбуз. После наши товарищи, работавшие в бухте Нагаева, рассказывали нам, что за двое суток до прихода «Джурмы» небо багровело зловещим отсветом и они, плача, с ужасом смотрели на алый горизонт, алое небо над ним.

Странное наблюдение сделала я на гибнущем корабле: выражение лиц у матросов, или штурманов, или заключенных самых разных статей было совершенно одинаковым. Скажем, у профессора Кучеринер (она работала в молодости не то секретарем, не то машинисткой у Зиновьева), и у Груни-Нож (бандитки, которая была соучастницей девятнадцати «мокрых» дел), и у монашек одно, у Маргариты тоже.

Я ей сказала о своей наблюдении. Она согласилась, но заметила, что у двух человек этого выражения нет совершенно.

— У кого?

— У капитана и, представь себе, у тебя…

— Гм. Может, мы о разном говорим? Ты сама, Ритонька, каким видишь это одно общее у всех выражение лица?

— Как у верующего перед последним причастием. У меня бабушка перед смертью просила позвать священника. Я пригласила. Потом меня из комсомола хотели за это исключить, но обошлось. Так вот у бабушки перед ее последним причастием было точно такое же выражение лица.

— Да. Я тоже так вижу. Но… ведь я тоже не хочу умирать, как и все. И капитан не хочет. Ну капитан исполняет свой долг, а почему я не прониклась…

— Ты и арест, как я понимаю, восприняла не так, как все, тебе же просто было интересно узнать, какие у нас тюрьмы, какие лагеря? Ты даже не испугалась. И сейчас не боишься. Ты, наверное, не веришь, что мы погибнем? А я… я не верю, что мы… спасемся.

Веру в спасение, похоже, потеряли все, кроме нас с капитаном.

Интересно, что монашки, которые в начале пути пели свои

духовные псалмы, теперь молились молча, взывая к Богу каждой клеточкой своего тела: «Господи, спаси наши души!»

А уголовницы… сейчас в них проявилось все лучшее, что еще осело и хранилось на дне их души: ни одного бранного слова! Они ухаживали за обожженными, ранеными.

А огонь наступал… будто мы были на фронте. «Джума» горела под нами, наступала с кормы, захватив уже полкорабля. Огонь встречали шлангами с морской водой, огонь шипел, извивался, норовил зайти с боков… Когда ветер менял направление, нас обдавало палящим жаром, как из печей Освенцима, окутывало дымом и мы задыхались, словно находились не на палубе океанского корабля, а в душегубке. Все цепенели от ужаса.

Господи, спаси наши души!..

В эти страшные дни в Охотском море, как я говорила в шутку, бациллы брюшного тифа наконец покинули меня, температура стала нормальная.

Где это я обрела исчезнувшие силы… И когда женщины падали духом, я, кашляя от дыма, начинала громко мечтать о том, как я буду писателем. Найду человека, которого я полюблю и который полюбит меня. И не позволю уже… никаким обстоятельствам разлучить нас. Как мы будем счастливы!

У нас будет два сына, две дочери… и еще кошка с зелеными глазами и большая рыжая собака.

— Валька, твои останки сожрет либо огонь, либо рыбы, — сумрачно перебил кто-то.

— И сожрали бы, если б не наш капитан. Я верю в нашего капитана. Пока он с нами, я ничего не боюсь. Вот так-то.

— Спасибо, — сказал капитан, он слышал мои мечты и пожелал, чтоб они сбылись.

Да, вот именно: спасение «Джурмы» еще не означало спасение каждого из нас — зека…

В этот день уставший капитан подошел к нам вторично.

— А это вас, оказывается, милый доктор прозвала Аяксами.

Он присел на круглую связку канатов возле нас.

— Аяксики — так зовет нас Тамара Алексеевна, — слабо улыбнулась я.

— Это вы симулировали брюшной тиф, чтоб ухаживать за больной подругой? — обратился ко мне капитан. — Расскажите, как это все было, я отдохну возле вас минут десять.

В пересыльном лагере это с нами было, на Черной речке…

— Знаю, под Владивостоком.

— Вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Больница не вмещала заболевших. Разбили палаточный карантинный городок.

Врачи были хорошие, но уход хуже некуда. Санитарки из уголовниц — играли в карты или плясала цыганочку. На стоны и просьбы больных отвечали матом. Много людей унесла эта эпидемия. Умер писатель Бруно Ясенский…

— Тамара Алексеевна мне говорила.

— Ну вот, и вдруг Маргарита заболевает брюшным тифом и ее вносят в список — в карантин. Как помочь? Ведь главное — уход? Предложить себя в санитарки? Мою статью не возьмут — террор, диверсия… Ну меня и осенило. Врач еще сидел у нас. Я пошла и сказала, что тоже заболела брюшным тифом. Он ткнул меня пальцем в живот и внес в список. Так я попала с Маргаритой в одну палатку. Первая ночь была самая страшная. Больные метались, стонали, плакали. Их было много. Ухаживала за всеми, конечно, не за одной Ритонькой. Она бредила… звала маму… Не мужа, которого расстреляли, а маму. Совсем еще ребенок.

— Так он не успел стать моим мужем! — воскликнула Маргарита. — Нас арестовали, когда мы только приехали из их загса. Не поверили, что мы поженились по любви. Заставили меня подписать, что это была лишь вражеская маскировка, а на самом деле мы соучастники. Олега почти сразу расстреляли, а мне дали десять лет тюремного заключения. Три с половиной года отсидела в ярославской тюрьме. Полтора года в одиночке, а два года с Валей. А потом нам заменили тюремное заключение лагерем, и вот везут… Наверное, на Колыму.

— А Валя тоже потом заболела тифом? — спросил капитан.

— Да. В первый день, когда у меня была нормальная температура, она свалилась… Болела тяжело, чуть не умерла. Это Тамара Алексеевна и спасла ее, я растерялась и только плакала тогда и призналась ей, что это из-за меня Валя умирает.

— Лишняя паника, — недовольно перебила я, — у меня и на уме не было умирать.

— Ох, Аяксики вы мои бедные! — вздохнул капитан и ушел.

В бухту Нагаева пылающая «Джурма» входила медленно, старший механик резко сбавил скорость.

— Еще минутка-другая, — объяснил он, — и мы бы взорвались. Некогда было ставить капитана в известность.

И «Джурма» догорала, обжигая нас. В воздухе не было ни ветерка, тишина. Пламя и дым поднимались к самому небу.

И началась наконец эвакуация на берег. Странно, я почти ничего не помню. Мне стало плохо. Воздух, которым мы дышали, был раскален. «Джурма» догорала… Мне было очень плохо, моментами я впадала в какое-то забытье. Память совершенно не сохранила, как происходила наша эвакуация.

Помню железную лестницу, боцман держит меня, как куль, —

я еле передвигаю одеревеневшие ноги… Нас обдает огнем, лестница раскалена. Боцман, стаскивая меня вниз, шепчет в самое ухо:

— Скорее, девонька, скорее, голубонька, ведь капитан сходит последним.

Я делаю колоссальное волевое усилие, беру себя в руки, собирая уходящие силы.

— Молодец, — обжигает меня боцман горячим дыханием, — крепись, сейчас дойдем. Господи, ведь капитан сходит последним…

Я на причале. А боцман карабкается вверх, чтоб помочь сойти капитану.

Где Маргарита?

Возле меня Тамара Алексеевна, белый халат ее забрызган кровью — помогала переносить раненых, щупала мой пульс, живот.

— Где?

— Она уже на берегу, сошла одна из первых. У тебя осложнение брюшного тифа… неврит, видимо. Тебя бы госпитализировать.

— Не надо. Я отойду…

А «Джурма» догорала…

На берегу нас построили, но еще долго не отправляли.

Пришло несколько карет «Скорой помощи», в них погрузили обожженных и раненых из команды и заключенных.

Капитан тоже был сильно обожжен, и его собирались вести в больницу, но и здесь он вошел в «карету» последним, проследив за отправкой матросов.

Когда капитан проходил мимо нас, заключенных, мы кричали ему: «Спасибо, капитан!», «Счастья тебе, капитан!», «Счастливых плаваний!».

А он в ответ желал нам терпения и сил, чтоб каждый дождался свидания с родными и любимой работы. И в ответ проносилось по рядам: «Спасибо, капитан!», «Счастливых плаваний!», «Многие лета!».

Капитана увезли в больницу, а мы еще долго стояли, ожидая, пока нас примет магаданская земля. Очень хотелось есть, потому что давно настало время обеда. Завтрака не было, так как камбуз сгорел, и Гарри покормил нас сгущенным молоком и печеньем. Почти не ели… Не до еды, когда тебя обдает огнем и дымом.

Мы устали, но сесть на землю, когда накрапывает дождь пополам со снегом, как-то еще не решились. Тут кто-то из мужчин протискался ко мне.

— Валя! Родная…

Передо мной стоял мой друг Иосиф Кассиль. Исхудавший, измученный, с потухшим взглядом когда-то живых, ярких черных глаз. Надежда покинула его.

— Валя, если ты вернешься живой… — сказал он.

— Конечно, вернусь, и ты вернешься, Иосиф! Мы еще будем жить в нашем Саратове, может, в Москве… Будем писателями. Ты вернешься к своей жене Зине, дочке Наташе…

— Нет, Валя, я чувствую, что мне не вернуться. Не спорь. Был бы очень рад ошибиться… Так вот, если вернешься одна… ты навести моих родителей в Энгельсе, брата Льва… Скажи им, что я очень любил их всех и Зину с дочкой, конечно, передай им всем привет от меня и расскажи непременно им, что меня оклеветал Вадим Земной.

— И меня тоже. Он всех нас оклеветал, этот подлец. Настанет время, и никто не будет с ним даже здороваться, все будут его презирать. Страшно ему будет жить на свете. И умирать ему будет страшно. А нас с тобой будут уважать и живых и мертвых, но мы не умрем…

— Стройся! — загремел чей-то бас. Мы быстро обнялись. Простились навсегда. Больше я Кассиля не видела никогда.

От его брата Льва Кассиля узнала после своей реабилитации, что Иосиф Кассиль погиб в 1943 году на Колыме, при массовом расстреле… Родителей его в живых я уже не застала. А капитана догоревшей «Джурмы» я никогда больше не видела и ничего не слышала о нем. Где ты, добрый мой капитан?

Из бухты Нагаева мы поднимались по шоссе вверх — какой крутой подъем! Впереди две тысячи мужчин и затем шестьсот женщин. Всем хотелось скорее добраться до места. Шагали довольно энергично. Но мои одеревеневшие ноги… Я отставала все сильнее, сильнее. Нас вея конвой и огромные овчарки. Тамара Алексеевна и Маргарита пытались помочь мне. Что могли они сделать, если мои ноги еле переступали? Конвой ругался, овчарки кусали мне ноги. Хотя они нигде не прокусили кожу. Умные, обученные собаки. Однако ноги до колен оказались в синяках.

Любопытно, что ни Маргариту, ни Тамару Алексеевну собаки ни разу не укусили… Безошибочно определяли, кто задерживает колонну.

В тумане показались строения Магадана.

Это было двадцать третьего сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года.

На ладони судьбы

Город Магадан в бухте Нагаева с самого начала отроили мы, заключенные. Городу пять лет, в основном он уже был построен: пятиэтажные дома, театр, магазины, больница, аптеки, всякие учреждения. Но город продолжал бурно расти.

Наша бригада из тринадцатого барака, где помещались женщины с бывшим тюремным заключением, рыла в городе траншеи для труб канализации и водопровода. Рыть надо было на глубину два метра. Второй метр — вечная мерзлота, и приходилось бить ломом словно скальное основание.

Норма — девять кубометров на человека. Работали по двое, значит, должны были сделать восемнадцать кубометров в день. Норму, конечно, никто не выполнял.

С неба падал дождь пополам со снегом. Под ногами хлюпала вода, ноги промокали до колен… Измученные, ослабевшие женщины прикидывали, насколько их хватит…

— Недели три выживем. Может, месяц… но уже не больше… Лучше бы мы погибли вместе с «Джурмой».

Маргарита и так пала духом, а тут еще такие разговоры… Требовалось вмешаться, и я вмешалась.

— Товарищи, прошу внимания, я сейчас буду давать клятву!

Бригада прекратила работу.

Опершись на лопаты или ломы, все с любопытством смотрели на меня.

— Какую клятву?

— У меня срок — десять лет. Сижу я третий год. Если до конца срока мне предстоит нечто еще более худшее, чем сейчас, клянусь всё вынести, всё выдержать и вернуться домой к своей работе. И еще клянусь приехать в этот злосчастный город в качестве корреспондента центральной газеты, ну хотя бы «Литературной газеты». Пусть здешнее начальство меня всюду здесь водит и все показывает, объясняет. Я спрошу, кто этот город строил. Клянусь!

— Но ты же загнешься до тех пор, — загалдели они.

— Черта с два! Ведь я же поклялась. А вы у меня приняли клятву — и еще убедитесь во всем!..

Все стали бурно спорить, есть ли у меня шанс выжить. А Маргарита молча принесла ведро. Мы стали вычерпывать воду.

Четверть века спустя, в беседе с Валерием Алексеевичем Косолаповым — главным редактором «Литературной газеты», я рассказала об этой своей клятве.

Косолапов вскочил и, схватив меня за руку, потащил из

кабинета.

— Куда вы меня ведете? — удивилась я.

— В бухгалтерию, оформлять командировку в Магадан.

— Значит, я не зря клялась…

Долго, долго оставалось ждать этого дня…

А пока мы рыли траншеи.

Все-таки условия, с непривычки, были непомерно тяжелые. Подъем в четыре часа сорок пять минут. На завтрак, как и на обед и ужин, — овес, которым нас кормили еще в тюрьме, и мы уже его видеть не могли — тошнило. Вечная мерзлота не поддавалась нашим усилиям, ноги коченели в ледяной воде. Как назло, каждый день шел дождь пополам со снегом.

У меня распухли ноги, я еле ходила… Однажды ко мне подошла женщина из нашей бригады — Рахиль — и отозвала меня в сторону.

— Валя, я сделала открытие: сразу будет легче, честное слово! Попробуй. Я отойду от тебя — а ты стони.

Я приготовилась постонать, и вдруг на меня напал такой неудержимый смех, что вся бригада заинтересовалась:

— Валя, ты над чем?

— Рахиль тебе анекдот рассказала?

— Расскажи нам!..

Я изнемогала от смеха, но что я могла им сказать?

— Мы тоже хотим посмеяться, — строго сказала мне профессор Кучеринер, — в чем секрет?

— Надо отойти в сторону и малость постонать — сразу нападает смех.

— У-у, Кандид несчастный! — воскликнула Зинаида Павловна Тулуб, украинская писательница.

— Веселый скелетик, — вздохнула журналистка Надя Федорович.

— Если до стона доведут меня, то это вызовет совсем другую реакцию… — сказала профессор Кучеринер.

— Какую?

— Гм!! Буду учиться ругаться по-матушкиному.

— Разве профессора ругаются?

— Ну, если их доведут до стона…

— Тогда не стоните. Хотите я вам расскажу анекдот, который я слышала от поляков.

— Рассказывай.

Я рассказала польский анекдот, очень остроумный. Хохотала вся бригада. В разгар общего смеха пришла бригадир, удивилась, что мы не работаем, а смеемся (было бы чему!), и сообщила новость. С завтрашнего дня наша бригада работает на скоростном

строительстве пятиэтажного дома в центре Магадана. Фундамент дома заложили месяца два назад, но дальше первого этажа пока не поднялись. А начальство обещало сдать дом к ноябрьским праздникам.

Утром мы пришли на новую работу строем.

Мужская бригада уже сидела в ожидании нас на кирпичах и бревнах. К нашему великому удивлению, наше появление было встречено музыкой. Музыканты сидели на специальной платформе на колесах и играли марш Мендельсона.

Начальник строительства встретил нас короткой речью, объяснив, что мы удостоились чести работать на скоростном строительстве. Что за каждого из нас уплачено по северным ставкам.

Я, Маргарита, Зинаида Павловна, Надя Федорович и Рахиль составили самостоятельное звено. Работали мы слаженно, и получалось не хуже, чем у других.

Впереди идет Надя Федорович и сноровисто раскладывает по стене ровную полосу раствора. Я размеренными движениями, по возможности быстро, укладываю кирпич за кирпичом и подрезаю раствор. Мы кладем наружную, самую ответственную часть стены. Зинаида Павловна и Рахиль клали внутреннюю. Маргарита заполняла кирпичом промежуток между стенами — тут не требовалось особого умения. Стена росла на глазах…

Вечером, когда мы вернулись с работы, мне вручили телеграмму из Саратова от мамы.

На миг у меня сердце приостановилось от тревожного предчувствия. Но потом вспомнила, что о смерти близких мне отнюдь не сообщалось телеграфом, письма-то приходили через полгода-год…

Пока я была в заключении, умерли мой отец, брат, кое-кто из друзей…

Нет, телеграмма была о другом. Мама сообщала, что они обрадованы Москвой: мне отменили приговор и назначено переследствие, ближайшим пароходом я должна вернуться в Саратов.

В бараке телеграмма наделала много шума, пробудив в людях горячие надежды. Это была первая ласточка о начавшейся лавине переследствий.

Все за меня радовались, поздравляли. Пыталась вы разить свою радость и Маргарита, но не смогла.

— Валя… Я… так за тебя… рада… так… — Губы ее дрожали, она побледнела, в глазах был страх… — Я не перенесу… здесь одна, — прошептала она в ужасе.

Ярославскую тюрьму Маргарита переносила мужественно, на

Черной речке тоже держалась, но пожар на «Джурме» подкосил ее силы.

Вечером Зинаида Павловна Тулуб увела меня к своему месту — помнится, хотела показать недавно вышедший номер «Нового мира». Но журнала у нее не оказалось — кто-то его забрал почитать. И она в сотый раз поздравляла меня с радостной вестью. Мы немного поговорили, и я вернулась к себе. На моем месте сидела журналистка Надя Федорович и вовсю разносила притихшую Ритоньку:

— Совесть у тебя есть? Весь барак от души радуется за Валю. Кроме одной стервы, которая ее ненавидит. А ты что, уподобляешься этой Женечке Г. Сидишь бледная, расстроенная, не можешь порадоваться за подругу. Стыдно. Скоро Валя будет чувствовать себя виноватой, что оставляет тебя.

— Перестань ее бранить, Надя, — попросила я, садясь рядом.

В барак вбежала шведка Эрна, размахивая телеграммой.

— Товарищи, милые, я тоже получила такую же телеграмму — от мужа. У меня будет переследствие. С ближайшим пароходом едем, пока не закрылась навигация. Ура! Ура!

Женщины окружили Эрну, читали ее телеграмму, поздравляли ее.

— Две телеграммы за день! — восторженно воскликнула Зинаида Павловна. — Товарищи, будут и другие!..

Все со страстной надеждой ждали телеграмм. Когда приносили письма, в глазах читалось: а телеграмм нет?

Телеграмм не было.

Проходили день за днем, неделя за неделей. В октябре разнеслась грустная весть, что на рейде «Индигирка» — последнее судно в этой навигации… Уходит завтра вечером. И тогда неожиданно вызвали из нашего лагеря восемь женщин! Но ни меня, ни Эрны в числе вызванных не было.

Эрна не спала почти всю ночь, а утром заявила, что на работу не выходит, а «будет добиваться толка». И отправилась в контору ждать начальника. А я пошла на работу.

Нас здесь ждал сюрприз… Начальник строительства, разобиженный вконец, заявил, что не собирается возобновлять контракт с лагерем, с него хватит всяких неприятностей. Перед тем как отправить нашу бригаду обратно в «Женскую командировку», он устроил митинг и перечислил все свои обиды: он платил за каждого из нас по северной ставке с полярной надбавкой, а мы еле шевелились, будто лагерь прислал одних доходяг. Он дал нам музыкантов, чтоб расшевелить, а мы, ссылаясь на овес, совсем еле двигались. А одна краснощекая девица, неблагодарная вконец, даже потребовала убрать

музыкантов, дескать, ей музыка действует на нервы, иначе грозилась выпустить себе кишки, если их не уберут. Кто же мог принять всерьез это дикое заявление? А она вчера, работая во вторую смену под звуки классической симфонии, взяла и действительно сделала себе харакири, и кишки выпали на грязные доски… «Черт-те что, сейчас лежит в хирургическом отделении… Нет, с меня хватит!»

— Так это же сто шестьдесят вторая статья! — сказала Надя Федорович.

— У кого?

— Ну, у воровки, которая кишки себе выпустила.

— Какая разница — при чем тут статья?

— Они все истерички, и музыка, наверно, ее действительно очень раздражала.

— Ну, знаете… Больше заключенных баб себе не возьму никогда!

На этом нас отправили домой, то есть в лагерь. Там меня ждала взволнованная Эрна.

Глаза ее блестели, щеки алели, с губ не сходила счастливая улыбка.

— Валя! — бросилась она ко мне. — Бери свою телеграмму и беги к начальнице…

Нас окружили. Оказалось, что Эрна сходила со своей телеграммой к начальнице лагеря, та приняла и тут же стала звонить в НКВД… И вызов Эрны нашелся очень скоро.

— Мне велели собираться с вещами. В десять часов вечера за нами придет машина, и мы поедем в гавань. Пароход «Индигирка». Иди, Валя, скорее, начальница у себя.

Я взглянула на Ритоньку…

Она, что называется, помертвела. Она всех боялась, кроме меня.

— Пошли обедать, — сказала я Маргарите и направилась к столовой.

— Ты лучше вперед к начальнице, вдруг она уйдет! — кричала мне вслед Эрна.

Мы пообедали главным образом хлебом, так как проклятущий овес уже не лез в глотку… Вернулись в барак, и я легла спать. Как ни странно, сразу заснула. Пробуждение было бурным. Надя Федорович трясла меня изо всех сил за плечи и всячески ругала, женщины вторили ей:

— Ты, Валька, дура ненормальная! Ну можно дружить, но не до такой же степени, чтоб так жертвовать собой. Бери телеграмму и мчись к начальнице, она тебя ждет в конторе.

— Какие жертвы? Что вы ко мне пристали? Просто я решила

положиться на судьбу.

— То есть как?

— Все мы на ладони судьбы… еле держимся. Кто удержится, кто упадет, разобьется… Вызовут меня — что делать? — поеду, не вызовут — поеду весной с открытием навигации. И вообще отстаньте от меня, я не маленькая. Подошла Эрна, я подвинулась, давая ей место.

— Эрна, милая, ты уезжаешь. Расскажи, как получилось, что ты, шведка, оказалась в Москве и советской подданной?

Эрна охотно рассказала о себе. Дочь шведского профессора-генетика, она полюбила русского дипломата. Несмотря на все препятствия (их было немало), молодые поженились, и муж увез ее в Москву. Пять лет они прожили в большой любви и согласии. Им хотелось иметь детей. Однако муж страстно желал, чтоб мать его детей имела советское подданство. И Эрна, глубоко любя мужа, согласилась на это. «Родина моего мужа будет моей Родиной», — решила она. В два часа дня она оформила гражданство. Вечером были гости, друзья и родители мужа, а в два часа ночи за ней пришли… Арест. Эрну обвинили в шпионаже. Дали ей десять лет и отправили на Колыму. До самой реки Колымы Эрна не доехала, осталась в Магадане в «Женской командировке». У нее было право переписки, и муж ей писал нежные преданные письма, не переставая хлопотать о ее судьбе.

— И вот он добился, мой муж, мне отменили приговор. А начальница меня поздравила и говорит: «Вы едете на освобождение!»

После ужина Эрна опять подсела ко мне и всё рассказывала то о муже, то об отце, то о Швеции…

Машина за ними пришла ровно в десять вечера. В барак зашел сам Чиче (так уголовники прозвали заместителя начальника) и громко спросил:

— Кто тут на освобождение едет? Мы помогли ей сесть в грузовую машину, где уже сидели восемь женщин из других бараков. Теперь, с Эрной, их стало девять человек.

Они уехали, «Индигирка» отошла в двенадцать. Маргарита плакала, уткнувшись головой в подушку: женщины всё ругали ее за меня.

На другое утро нас направили на новое место работы — в бухту Нагаева, на рыбный склад. Вернее было бы назвать его рыбным двором. Это была довольно большая площадь на берегу бухты, обнесенная высоким забором. И здесь штабеля бочек, уже занесенные снегом.

Зима только началась, в бухте уже был лед… «Индигирка» — последнее судно в навигации 1939 года…

Работа нам понравилась — несложная: откапывать из-под снега бочки с икрой или рыбой. Когда уставали, шли отдыхать в теплушку, где всегда кипел большой чайник. Заварки наш хозяин не жалел, часто ставил нам «килограмм-другой сахара. Человек он был добрый, радушный. И хотя тоже платил за нас по северной ставке, никогда этим нас не попрекал. Было как-то неловко подолгу отдыхать, мы работали по совести.

Иногда заведующий складом Иван Петрович сам заглядывал к нам:

— Женщины, а ведь вы замерзли, зима все же. Идите-ка лучше погрейтесь, чайку попьете — индийского вам заварили.

И мы шли, от души поблагодарив его.

На столбах висели репродукторы, и мы слушали московские новости вперемежку с музыкой и песнями.

А на пятый или шестой день мы услышали скорбный голос диктора. Он сообщил о том, что вчера в два часа ночи в Татарском проливе, во время бури, судно «Индигирка» затонуло, протаранив себя о подводную часть скалы. Спаслись только тридцать человек из команды и трое заключенных мужчин, которые попали в руки японцев и увезены в Японию. Остальные погибли. Все в ужасе переглянулись…

— Как же, и… значит, Эрны больше нет… и муж напрасно ждет, и родители никогда… ее не увидят?

Я горько расплакалась. Меня окружили женщины. Ко мне протиснулась Надя Федорович.

— Прости, Валя. Это ты могла бы погибнуть. — Ее круглое, красивое лицо было непривычно смущенным. — Ты доверилась своей судьбе, и ладонь тебя удержала…

Одна в пространстве

На Дукче я была несколько месяцев, которые кажутся годами… Наш этап прибыл туда где-то за полночь, нас временно загнали в большой необитаемый барак, где накормили ужином — мутной баландой на пшене. Я сидела и тихонько плакала. Дорогой уголовницы пригрозили мне: «Будешь реветь — изобьем. И так муторно — еще ты тут всхлипываешь». Пришел дородный грузин (может, азербайджанец, он был из Баку). За ним два угодливых дурака. Он прошелся по бараку, внимательно всех рассматривая. Медленно проходя второй раз, грузин некоторых спрашивал, какая у них статья? Спросил и у меня, и у Рахиль. Потом приказал:

— Этих двух во вторую палатку.

— Там только одно свободное место возле Николаевой…

— Да, верно, я им обещал не теснить. Тогда эту в первую, — он указал на Рахиль, — остальные 162-я статья, их по баракам…

Меня отвели в утепленную, уютную палатку. Там еще все спали. Палатка была на тридцать человек. Вместо нар — топчаны. Дневальная указала мне мой топчан. Вплотную к нему стоял другой, на нем сидела хмурая, худощавая женщина с недобрым взглядом злых темных глаз… Николаева. Как я потом узнала, родная сестра того Николаева, что убил Кирова.

Женщины в палатке мне почему-то не понравились, и я пожалела, что Рахиль поместили отдельно. Первые два-три дня я плакала каждую свободную минутку: по Маргарите, по женщинам из нашего тринадцатого барака, они были славные, почти все, кроме одной, законченно подлого человека Евгении Г. Я еще не знала в те дни, что благодаря ее клевете очутилась на Дукче.

С работой пока было неплохо: и меня и Рахиль поставили «на снег», то есть откидывать снег от лагерных зданий.

Работа была нетрудная, мы первыми приходили в столовую и могли погреться в любом бараке, если сильно замерзнем.

Я была слишком общительным человеком, чтобы долго оставаться одной. Постепенно у меня появились приятели во всех бараках, и женских и мужских. Дукча не была женским лагерем, как «Женская командировка» в Магадане. Здесь находились и мужчины и женщины. Работали в основном на лесоповале, но были здесь и теплицы, где выращивали овощи для Магадана, фермы и всякие мастерские.

Начальник лагеря — тихий, робкий человечек с образованием… видимо, семь классов (говорили, правда, что четыре класса?!). С работой такого размаха он явно не справился

бы, но ему повезло. Среди заключенных оказался управляющий крупным трестом в Баку. Он получил за убийство жены десять лет, но так как он стрелял в нее прямо на собрании, когда она выступала, ему дали 58-ю статью, пункт 8 (террор). Грузин этот был по образованию экономистом и скоро стал фактическим начальником лагеря на Дукче. Говорили, что начальник сам его побаивался и ненавидел, но, увы, обойтись без него не мог. Ни имени, ни фамилии грузина я не запомнила, знаю лишь, что фамилия оканчивалась на «швили». Так и буду его называть.

Так вот, этот Швили завел себе из заключенных женщин настоящий гарем, жили они все во второй палатке, куда и я попала. Пустой топчан на случай какой комиссии, резал бы глаза. Как я узнала, и Николаева отнюдь не была его наложницей: как ни странно, Швили, жестоко избивавший мужчин, сам побаивался Николаевой, считая ее способной на всё, так как она поставила на своей жизни крест, не ожидая от нее ничего хорошего.

Ночью я проснулась от тихого страстного шепота: Николаева разговаривала сама с собой. Я напрягла слух.

— Идиот, дурак несчастный! — шептала она. — Нашел кому верить… Погубил себя и всю семью… Дурак несчастный! Поверил?! Надо же! Вот уж воистину, когда бог захочет наказать — отнимает разум…

Она долго проклинала брата и тех, кто его обманул, обещая золотые горы, а вместо этого дали расстрел.

Я лежала не шелохнувшись, ничего не понимая, но уже догадываясь, что убийство Кирова готовилось заранее. Репрессирована была вся семья Николаевых вплоть до самых дальних родственников. Двоюродная сестра только что вышла замуж, тем не менее ошеломленный молодой муж получил десять лет.

Понемногу я привыкла к товарищам по палатке. Я так и не полюбила этих женщин, не могла их уважать, но поняла, как они несчастны и насколько каждая из них одинока… Мне стало жаль их, и я сделала единственное, что могла для них сделать: стала им по вечерам рассказывать всякие романы.

Библиотеки на Дукче не было, кино не было, никакой самодеятельности, даже клуба, даже радио не было. Рассказы мои пришлись кстати.

Однажды я рассказывала им Диккенса «Наш общий друг». Вошел Швили, незаметно присел на одну из коек и молча слушал. Потом пересел поближе, я замолчала, он велел продолжать, я продолжала рассказывать. Ему, видимо, понравилось, и он в полном восторге воскликнул: «Хорошо рассказывает! Вот это рассказывает!» Я пожала плечами и замолчала.

— Дальше, продолжай дальше! — потребовал он. Но у меня пропало всякое желание рассказывать.

— На сегодня хватит, я устала.

— Ладно. Кстати, мне надо идти, без меня не рассказывай больше.

Когда Швили ушел, я досказала «Наш общий друг». На другой день, когда я обедала, ко мне подошел один из его «придурков» (так называли в лагере тех заключенных, которые хотели выслужиться) и сказал, чтоб после обеда не выходила на снег, что меня назначили сторожем в овощехранилище.

Почему-то он подмигнул, уходя. Когда я сообщила женщинам о своей новой работе, они переглянулись и промолчали. Все это заставило меня насторожиться.

После ужина я пришла в овощехранилище. Рабочие, перебиравшие картошку, уже разошлись. Заведующая, пожилая женщина, а может и молодая, но совершенно седая, с интересом оглядела меня. Набрала для меня кастрюлю картошки и проводила в небольшую комнатку при входе.

— Овощехранилище я запираю, тебе остается тамбур и эта комната, запрись на крюк и, кроме начальства, никому не открывай. Я пошла. Приятной ночи.

— Я не буду спать, — пообещала я.

— Без сомнений, не будешь… Хотя вообще-то можно, никто сюда не полезет.

Она ушла. Я осмотрелась. Чистенькая квадратная комнатка. В плите пылали дрова, на плите кипел чайник, было тепло, даже жарко. С потолка свисала яркая электрическая лампочка. Стол, топчан, пара шкаф с посудой. Я открыла форточку, отставила с огня чайник, почистила картошку и поставила ее на плиту вариться. Сама села на табурет и задумалась. Я ждала неприятного визита. Мои опасения оправдались — пришел Швили.

— Картошка уже варится? Хорошо, поужинаем с тобой, и ты будешь мне рассказывать.

— Как Шехерезада? — усмехнулась я.

Швили выложил на стол колбасу, сыр, консервы — крабы, кетовую икру в баночке, конфеты и белый хлеб. Картошка сварилась. Швили кивнул на шкаф:

— Там тарелки и чашки, здесь есть еще заварка, — и он вытащил из своей сумки индийский чай.

Я расставила посуду, но стала есть лишь картофель. Швили усмехнулся.

— Не дури, ешь все подряд, что должно произойти, все равно произойдет.

— Это верно, а что не должно произойти — не произойдет. — И я с большим аппетитом принялась есть с белым хлебом кетовую икру. Швили с удовольствием наблюдал, как я ем.

— Вот молодец, это по-нашему.

Когда мы поужинали, он попросил меня сесть поудобнее на топчан и рассказывать: надо было платить за еду.

— Минутку… Все-таки убери чашки в шкаф, — сказал он.

Я встала, но не успела и подойти к столу, как Швили поднял меня на руки.

— Помогите! — заорала я изо всей мочи. Я всегда была горластая. — Помогите! Помогите!

Я боялась, что он зажмет мне рот, но Швили, повалив меня на топчан, сказал:

— Можешь орать сколько влезет, никто не осмелится мне помешать.

Он переоценил себя. Осмелились. В дверь забарабанили изо всех сил, и, обычно безответный, начальник яростно кричал:

— Швили, немедленно отопри, или я отправлю тебя завтра на штрафную!

Швили с перекошенным от злобы лицом выругался, но вынужден был открыть дверь. Вошел начальник.

Я стала его благодарить.

— Ладно, — сказал он, — думаю, с него хватит тех, кто не противится. А вы запритесь и никого не пускайте до утра, пока не придет заведующая складом. — И пошутил: — Даже меня… Идем, Швили.

Они ушли. В десять часов вечера у нас была поверка, которая длилась минут двадцать-тридцать. На ней обычно читали все постановления, приказы, запомнилось: зека-зека такого-то за сожительство с зека-зека такой-то трое суток карцера, соответственно ему и ей.

У Швили не хватило терпения прийти попозже. Он пришел, наверно, около десяти. Когда я кричала, люди как раз расходились с поверки.

— А Мухина уже орет, — меланхолично заметил один зека.

— Зовет же на помощь! — воскликнул другой. Они бросились за начальником, но тот и сам уже услышал и бежал к овощехранилищу.

На следующий день после обеда ко мне опять подошел швилевский придурок и сказал, что вечером я могу себе отдыхать, а завтра утром должна идти работать на лесоповал.

— Дуреха! — добавил он. — Узнаешь там, почем стоит фунт лиха.

Утром, поднявшись в четыре часа сорок пять минут и наскоро

позавтракав, я получила дневную порцию хлеба (пайку) и направилась с бригадой лесорубов на лесоповал.

Путь шел по замерзшей реке, не помню ее названия, может, это была именно река Дукча? В своих будущих романах я ее потом называла Ыйдыга…

До моей работы было километров девять. Тайга…

Великаны деревья. Тогда не было автоматической пилы. Пилили обыкновенной пилой. К полудню у меня онемели руки и плечи, нестерпимо ломило поясницу. В двенадцать часов сделали перерыв, можно было отдохнуть у костра и поесть хлеба. Обед туда не привозили. Съедали его вечером вместе с ужином.

Я ела ржаной хлеб, когда ко мне подошел один из рабочих, лет тридцати, сероглазый, седой, гладко выбритый.

— Зачем же один хлеб? А вы с ягодой.

Что он, шутит? Он не шутил. Сделал два шага в сторону, разгреб чистый снег, под ним — красная ягода. Уже забыла, какая ягода, но она была такой сладкой, такой вкусной. Мужчину звали Вячеслав Иванович. Он тоже был новым человеком на лесоповале, всего вторую неделю. По профессии агроном и жил до сих пор вне зоны. Но прогневал чем-то начальство и загремел на лесоповал.

Но он не унывал.

— Без меня не обойдутся. Специалисты-то им нужны, а я Тимирязевскую кончил.

Действительно, на третий день он не вышел.

Уставала я страшно, как и все конечно. К шести часам вечера была, что называется, чуть жива.

Бригада собиралась домой в лагерь, и тут, к моему отчаянию, бригадир командовал:

— Всем строиться, а вот Иванова, Петрова, Сидорова, Мухинова остаются работать, пока не выполнят нормы.

Бригада уходила, а мы четверо, или шестеро, или больше с одним конвойным оставались. Он позевывал у костра, мы работали при свете прожекторов.

Первая, как правило, бросала я.

— Больше не могу, не в силах!

— Иди к костру, идите все к костру, — звал нас обычно конвойный, и мы усаживались возле огня, на валежник. Грудь и лицо пригревало, а спина замерзала.

— Валя, отдохнешь немножечко, расскажешь, а? Что-нибудь недлинное, а то завтра меня сюда не назначат, наверное, — просил конвойный.

Если у меня находились силы, я рассказывала какую-нибудь интересную новеллу.

В одиннадцать часов конвойный поднимался:

— Хватит, пошли на отдых…

А идти было еще почти десять километров по замерзшей реке, а мы, кроме черного хлеба с морошкой, ничего за весь день не ели.

Всем хотелось скорее добраться до столовой, до барака и лечь спать… Подъем-то в четыре часа сорок пять минут.

Они все торопились, а мои ноги не шли.

Бригада уходила вперед все дальше, дальше, пока не скрывалась в туманной ночной мгле. А я брела одна все медленнее и медленнее.

Луна. Или только звезды… Созвездия сдвинуты, Полярная звезда яркая, как месяц… Снег, лед. Серебристая тайга, подступающая вплотную к реке. И я одна… Одна в зыбком нереальном пространстве, как будто я умерла и вот где-то в ином загробном мире, где уже нет ни родных, ни друзей, человечества, уже нет настоящей моей работы… Все странно, так странно…

Как ни медленно я шла, все же приходила в конце концов в лагерь. Запасная повариха совала мне простывший обед и ужин. Поев, карабкалась к нашей палатке на склоне горы и ложилась спать. Засыпала сразу, но… через два часа подъем.

Скоро ощущение какой-то нереальности, как будто я была во сне, стало ощущаться и днем. Будто я не наяву, а в мучительном сне пилила эти толстые, твердые, не поддающиеся пиле лиственницы, кедры… Берез и лип в тайге не было. Перепиленное дерево медленно падало на меня… Уголовница, с которой я работала на пару, с визгом отскакивала, а мне было как-то все равно… Бригадир, дико матерясь, мчался ко мне и оттаскивал в последнюю минуту.

— Ты что, умереть, что ли, хочешь? — орал он на меня.

— А разве я еще не умерла? — пожимала я плечами. Бригадир на каждой разнарядке обращался к начальнику с просьбой убрать меня с лесоповала. Но тот, вздохнув, отсылал его к Швили:

— Говори с ним.

Швили злорадствовал:

— Ничего, ей это полезно, а вообще, пусть сама меня попросит.

— Ты попроси у Швили, он тебя переведет на более легкую работу.

— Я буду внимательна, не волнуйтесь так за меня, — обещала я. Но опять глубоко задумывалась и все забывала.

И все-таки самое огромное, прекрасное чудо судьба подарила мне в эти тяжелые дни на лесоповале. Почти все его проспали.

Как всегда, мы возвращались поздно, как всегда, я отстала —

осталась одна в пространстве.

Я шла по замерзшей реке и думала о том, есть ли еще где обитаемые миры, и если там живут разумные существа, то как они устроили свою разумную жизнь? Неужели так же нелепо, как человечество?

Вот мы — единственная страна, которая получила возможность построения социализма. И что они сделали с этой возможностью? Страшно. Почему зло так легко берет верх над добром? Почему темное, страшное так умело топчет прекрасное, красоту? И возможно ли существование планеты, где прекрасное доступно каждому, кто преклоняется перед ним?

Я все глубже погружалась в свои мысли… Еще я думала, есть ли Бог? Хорошо, если б он был, но только если он всемогущий, всеблагий, как он может допустить существование зла, боли, страдания?.. Прав был Иван Карамазов, не прощая Богу слезинки затравленного псами ребенка… Но совесть… как объяснить, что людей мучает совесть? Почему даже плохого человека в глубине души терзают муки совести?

Я шла и так задумалась, что уже не видела ни реки, ни берегов, ни неба, ни Полярной звезды, — я была словно во сне.

Час за часом — медленно, как медленно! — побеждала я пространство. Во времени образовывались провалы, когда я как бы перескакивала через время без мыслей, без чувств, почти не отдавая себе отчета в происходящем.

Вдруг словно что-то разбудило меня: мир внезапно изменился. Он уже не был таким белым и однотонным, он блистал, как радуга. Не так, когда она нежно сияет далеко-далеко на горизонте, а как если бы эта радуга чудесно приблизилась и вы очутились в самом центре ее прекрасного, ослепительного полыхания. Начиналось полярное сияние.

Обычно я наблюдала его, как будто находилась в Большом театре, когда медленно передвигающиеся декорации озаряются попеременно огнями всех цветов и оттенков. Но в этот раз не было ощущения театральности зрелища. То, что творилось в эту ночь, было величественно и грозно, как рождение Галактики.

Никакие слова не могли передать то, что творилось в пространстве! Не существовало подобных красок, чтобы художник изобразил на полотне это. Может быть, только музыка могла передать то, что я видела в ту ночь, оставшись одна в пространстве, — философский смысл виденного.

Ученые утверждали, что полярное сияние беззвучно. Пусть так. Но я слышала его. Пусть что угодно говорит наука, но я буду утверждать, пока живу, что я слышала полярное сияние.

С шумом, подобным шороху волн, набегающих на

прибрежный песок, но без их периодичности — усиленно и ослаблено — разыгрывались сполохи. Из самого зенита неба, затмив созвездие Большой Медведицы, стремительно вылетали одна за другой длинные лучистые стрелы — все быстрее и быстрее, догоняя друг друга, зажигая облака. Скоро весь небосвод пылал странным призрачным холодным огнем. На фоне отдельных жутких, темно-фиолетовых провалов еще ярче разгорался этот свет… Представьте молнии — разящие, но не гаснущие, яркие и буйные. Огня было уже так много, что он стекал с неба, с гор, зажигая снег голубым, зеленым изумрудным, желтым, малиновым огнем. Лучистые стрелы падали в реку, отражаясь в ледяном ее щите. Казалось, они, летели, перекрещиваясь вокруг меня.

Я невольно остановилась. Дыхание у меня захватило.

Я была одна в блистающем, кружащемся, сияющем, переливающемся пространстве. Иногда оно притухало, и только тонкая, нежная, светящаяся вуаль, сквозь которую просвечивали звезды, заволакивала небосвод. Но тут же снова, с еще большей энергией, начинал бить невидимый вулкан. Огромный протуберанец огня с быстротой молнии перебрасывался с одного конца неба на другой, рассыпаясь снопами света, искр, стрел, дуг, лент, волн, пока весь небосклон не сливался в одно сплошное полыхающее море огня. И снова проливалась огненная лава на горы, на лес, на снег, на реку. Гранитные скалы казались совсем черными в этом блеске, в этой игре света. Сияние то затихало, то разгоралось с таинственным трепетным шорохом. Я шла час за часом, ошеломленная, потрясенная, а небеса все пылали.

Двадцать лет спустя, почти этими словами, я описала свой путь и это полярное сияние, только переживал его герой романа «Плато доктора Черкасова» Коля Черкасов…

Утром я не поднялась, температура 38 градусов. Пока пришел фельдшер, температура была уже 39.

— Простуда, переутомление, нервное потрясение. Бюллетень минимум на две недели… Лежи спокойно, отдыхай. Доложим про одну простуду, — сказал фельдшер, — остальное здесь не признается серьезным. Лекарство я тебе занесу. Обед из столовой принесет дневальная. Лежи, не вставай.

Уходя, он шепнул мне:

— Молодец, все тебя здесь уважают: дала отпор этому сукиному сыну. Все жалеют, что ты заболела. Мужчины хотели сахара тебе послать, я не взял. Достану тебе сахара в лавочке. Отдыхай.

Он погладил меня по голове и ушел.

Заболела я довольно сильно — держалась высокая

температура, не проходила головная боль, кололо в боку, но я испытывала настоящее блаженство — лежать! Никогда я не думала, что такое счастье на земле — лежать! И спать сколько влезет. Спала, просыпалась, снова спала. Узнала, что приходил Швили, смотрел на меня спящую и оставил мне передачу, я тут же передала ее дневальной. Узнав об этом, Швили при второй передаче разбудил меня и предупредил, что если я не буду принимать от него помощь, то после болезни опять буду направлена на лесоповал.

— Ну и что, другие же там работают.

— У тебя третья категория здоровья — опять свалишься.

— Ну и что?

— Умрешь…

— Ну и что?

— Дура ты набитая! — выругался Швили и ушел, забрав передачу.

Я поуютнее улеглась под одеялом и опять уснула.

Когда я отоспалась, мне стадо легче. Температурила я еще долго, но температура была невысокой: 37, 2–37, 4.

Мне дали отдохнуть ровно десять дней, затем явился сам Швили и велел мне завтра утром выходить на развод.

Я сказала:

— Слушаюсь, ваше благородие.

Утром я оделась потеплее и вышла на развод. Швили еще не было — видно, отсыпался после бессонной ночи с одной из лагерных жен.

Рядом с нарядчицей я вдруг увидела Вячеслава Ивановича, он выступил вперед и объявил:

— Товарищи, среди вас нет ли стекольщика? Я очень удивилась тому, что он выступает в роли начальника и на кой черт ему стекольщик? От удивления я громко повторила:

— Стекольщика?

Он едва заметно кивнул мне.

— Вы стекольщик? Пошли. — И, не долго раздумывая, повел меня куда-то за зону.

Его догнал один из придурков Швили и пытался объяснить ему, что я работаю на лесоповале.

— Срочно нужны стекольщики, и, как видишь, их больше нет, — решительно возразил Вячеслав Иванович.

Главный агроном привел меня в длинное бревенчатое помещение, где работали два настоящих стекольщика, пожилой и молодой (вольняшки, как называли вольных). Представив меня, он ушел.

— Когда и где работала стекольщиком? — спросил меня

пожилой.

— В другом перевоплощении, — пояснила я. Они переглянулись и объяснили, что у них срочная работа — они стеклят рамы для парника.

— Но алмаз только один — у него, — пояснил молодой, показывая на старшего, — и он никому не дает резать.

— Правильно делает, — с явным облегчением произнесла я, — целее будет.

Они представились: молодой — Вася, а старший — Иван Матвеевич.

— Тебя-то как звать?

— Валя. Статья 58-я, срок десять лет, сижу уже четыре года, осталось всего шесть.

Они закашлялись. Потом Иван Матвеевич положил на стол большую раму, нарезал для нее стекла, дал мне в руки стамеску и маленьких гвоздочков, предложил вставить стекла.

— Сейчас вставлю! — с готовностью согласилась я. Уж я так старалась, что отбила себе большой и указательный палец левой руки. Гвоздочки почему-то подскакивали и отскакивали, прячась от стамески.

— Чахотка! — вздохнул Иван Матвеевич.

— А где было это… ну, другое перевоплощение?

— Вы не поймете или просто не поверите… — вздохнула я, помотав левой рукой.

— Почему не поймем?! Не чурки с глазами, — сказали они одновременно.

— Вам правду или соврать… хоть немножко.

— Правду, — твердо потребовал Иван Матвеевич. Тогда я рассказала им про лесоповал.

— Я ведь тоже был зека, — сказал Вася. — Научишься, чего там.

— Не боги горшки обжигают, — сказал Иван Матвеевич и стал нарезать своим алмазом стекла.

Обедать в лагерь они меня не пустили, пригласили поесть с ними.

— Съешь свой обед на ужин, — сказал Вася и спросил: — А что ты хотела соврать, если бы мы выбрали вранье?

— Что я была на другой планете.

— Какой?

— Не все ли равно какой?

— Нет, все-таки какой?

— Ну…

И я придумала этой планете название «Планета Харис». Роман под таким названием вышел у меня в 1984 году.

Не забыла.

За три дня я научилась быстро и ловко стеклить парниковые рамы и скоро делала ничуть не меньше Васи.

Мне было с ними очень хорошо. Оба, работая, рассказывали о своей деревне.

Вася был из-под Рязани (село не помню), ужасно гордился своим земляком, знал десятки его стихотворений на память и неплохо читал. Образование у него было — семилетка. Работал трактористом. У него была тоже 58-я статья, но срок небольшой (три года), который он уже два года тому назад отбыл. Но его не отпустили — нужны были работники.

Иван Матвеевич родом из-под Астрахани, рыбак и крестьянин. В 1929 году был он раскулачен, однако признан середняком и реабилитирован, но односельчанам обиды не простил и в родное село уже не вернулся. Колесил с женой Капой по всей стране, как оторванный ветром листок, как перекати-поле. Работал то плотником, то шофером, механиком, каменщиком или стекольщиком. У него были, что называется, золотые руки.

Где-то среди этих скитаний он похоронил жену. Она умерла от воспаления почек. Видимо, застудила их. Острый нефрит перешел в хронический… Условий для поддержания здоровья не было. В тот год он работал лесорубом на лесоповале, жил в вагончике… Сам сбил жене гроб, крест, похоронил и поехал дальше на север.

— Почему именно на север? — поинтересовалась я.

— На севере чувствую себя как-то нужнее. Больше уважения к человеку. Да. Каждому человеку необходимо если уж не любовь, то хотя бы уважение.

И я подумала, что на фоне бывших зека и уголовников Иван Матвеевич, добровольно приехавший на север, честный, прямой, мужественный, с его золотыми руками, действительно должен вызывать уважение.

Я очень огорчилась, когда узнала, что через две-три недели, когда мы выполним заказ для теплиц, Иван Матвеевич уезжает работать на золотые прииски, Вася идет трактористом и будет работать под началом Вячеслава Ивановича, главного агронома.

А меня… меня ждет лесоповал. Но тут меня вдруг «осенило», и я однажды вечером, после работы, отправилась к начальнику. Подходя к его кабинету, я услышала музыку. Прекрасная щемяще-грустная мелодия. А-а… тоска по родине. Полонез Огинского.

Начальника не было. В его кабинете сидел возле патефона Швили и слушал, по смуглому лицу его струились слезы.

— Это ты? — заметил он хрипло. — Посиди со мной. —

Извини. Мне нужен начальник, — сказала я, обращаясь в бегство.

Нарядчица сказала мне, что начальник дома: ушел пораньше, так как завтра к девяти едет в Магадан.

Я шла к начальнику, и совесть исподтишка меня мучила: все же он, этот Швили, тоже человек — он плакал. Тоже, наверное, тоска по родине. А у меня на этот раз просил только одного: посидеть рядом и посочувствовать.

Впрочем… Я вспомнила, как он избивал ослабевших заключенных в карцере, и поняла, что ему сочувствовать не могу. Надеюсь, его печаль не обратится в злобу и он не пойдет срывать свою тоску на зека, таких же, как он сам, только лучше его.

Начальник уже поужинал и, сидя в кресле в вязаных шерстяных носках, читал «Правду».

Я извинилась, что побеспокоила его дома, но дело очень важное.

— Слушаю, — сказал он, откладывая газету. — Да ты садись.

Я рассказала, что у меня отменен приговор и с первым пароходом я должна ехать на переследствие. Насколько я слышала, всех с отмененным приговором свозят в Магадан.

— Правильно. Значит, никакого приговора тебе не отменяли. Если бы отменили, то не выслали на Дукчу.

Я показала ему мамину телеграмму и рассказала, что меня вызывали уже в НКВД, где сообщили, что первым рейсом еду домой на переследствие…

— Он даже выразился так: «На освобождение».

— Странно. Почему же…

— Обычное нарушение… Мало ли разве?

— Гм… Ладно, как раз завтра я еду в Магадан, зайду в НКВД и узнаю насчет тебя, телеграмму возьму с собой.

— Спасибо, гражданин начальник.

— Ладно, чего там. Узнать не трудно, а вдруг правда твоя!

Утром, когда я шла к девяти часам на работу, мне встретился Швили.

Остановил меня:

— К девяти часам ходить — зека так не положено. Ладно, неделю тебе осталось побарствовать. Потом только два выбора: либо овощехранилище, либо лесоповал. Третьего я тебе не дам, — протянул он насмешливо.

— Пока я на Дукче, не дадите.

— А куда тебе деться, окромя Дукчи? До свидания, стекольщик! — И он пошел дальше снежной тропой. Но Швили опять ошибся — не везло ему со мной! Дня через два я уже уезжала в Магадан на легковой машине вместе с женой начальника и старичком фельдшером. Мы трое сидели сзади, а

рядом с шофером охранник, сопровождающий меня до «Женской командировки» в Магадане.

Я закрыла глаза, вроде дремала, и думала о предстоящей встрече с Маргаритой.

Все это время на Дукче я скучала и тосковала о своем верном друге и одновременно радовалась, что не она, а я попала на Дукчу.

Так же все девять лет я не переставала радоваться, что это я попала в лагерь, а не моя сестра Лика или мама. Я не знаю, хватило бы у них сил выжить? За тетю Ксению, партизанку, я не беспокоилась. Она бы дала мне сто очков вперед.

Когда меня арестовали, тетя Ксения жила в Севастополе. Узнав о моем аресте, она тут же переехала в Саратов — разделить с сестрой беду. Добралась до моего следователя Щенникова и крепко с ним поговорила.

Вошедший во время их разговора какой-то сотрудник сказал:

— Жаль, что вы партизанка, а хлопочете о враге народа. Вам надо отрекаться от такой племянницы.

Тетя Ксения вспомнила все матерные слова, что слышала за свою многотрудную жизнь, и выложила их обоим сотрудникам. После ее ухода они даже говорили: «Не арестовать ли ее».

Но Щенников ее отстоял.

— Не надо. У Валентины Михайловны может быть только такая тетка. Все же она партизанка… Белогвардейцы в девятнадцатом году загоняли ей иголки под ногти, требуя указать, где партизанский штаб, — никого, ничего не выдала. Приговорили к расстрелу. Расстрелять не успели, наши перешли Сиваш и утром освободили политических заключенных…

Я была любимицей тети Ксении. Представляю, как она неистовствовала, что меня арестовали ни с того ни с сего…

Я ждала Маргариту вечером, но она, узнав, что я приехала, поспешила на попутной грузовой машине в лагерь.

Мы обнялись, сколько радости, сколько счастья дает дружба.

— Отпросилась у бригадира? — спросила я, улыбаясь. Маргарита рассмеялась.

— Представь, бригадиром назначена я. Уже третий день. Не знаю только, справлюсь ли?

— Конечно справишься.

— Теперь, когда ты вернулась, я уже не боюсь. А ведь утром боялась. Что начальнику вздумалось назначить меня бригадиром, я же самая младшая?

— Ничего. Справишься. Ну, рассказывай, как вы тут без меня жили?

Мы с ней проговорили до полночи. Решили, что завтра я

возвращаюсь в свою бригаду на рыбный склад.

Ночью мне приснился странный сон. Будто весь барак — все сто двадцать девять человек — выехали куда-то на этап и я осталась одна. В отчаянии я ходила в опустевшем бараке, кругом мусор, клочки бумаг, склянки, какие-то тряпки. Пустые нары, и я одна. Ни Маргариты, ни других товарищей…

На работе, когда мы отдыхали в теплушке, я рассказала женщинам свой сон.

— Какой неприятный сон, — вздохнула Маргарита. — Не знаю, как можно растолковать его?

— Ладно, может, и вправду чепуха, мало ли что кому приснится.

Но вечером, когда после ужина каждый занялся своим делом, а мы с Маргаритой все еще рассказывали, как жили друг без друга, в барак вошел начальник лагеря (новый, а ту начальницу куда-то перевели). За ним шла нарядчица Вера, с листами бумаги.

— Неужели всех читать? — спросила она у начальника.

Он что-то ответил ей вполголоса.

— Женщины, внимание, — объявила Вера. — Все! Понятно? Все, проживающие в тринадцатом бараке, кроме Мухиной Валентины Михайловны, собирайтесь с вещами, утром рано — этап в тайгу.

Они вышли, а мы сидели в молчании, словно оглушенные.

— Вот и Валин сон, — сказала Маргарита и заплакала. — Ей не ехать, потому что она поедет на освобождение.

— Этап в тайгу, — решила Надя Федорович. — Давно я слышала, что с бывшим тюремным заключением в Магадане держать не полагается. Отправят в тайгу на лесоповал. Просто долго раскачивались, как всегда и во всем у нас.

— Давай не спать всю ночь, — предложила Маргарита, — может, мы никогда не встретимся.

Мы проговорили всю ночь. Чтоб не мешать товарищам, уснувшим возле собранных вещей, мы вышли во двор. Лагерь спал, даже собаки не лаяли — дремали. Мы прогуливались перед бараком. Затем остановились и стали смотреть в небо… Никогда, нигде не видела я таких ярких, косматых, пламенеющих звезд, как здесь в ясные заполярные ночи. Созвездия сдвинуты с привычных мест и кажутся совсем иными, неизвестными, будто мы смотрели на них с другой планеты.

— Увидимся ли мы когда-нибудь с тобой? — сказала грустно Маргарита. — Ты была мне настоящим другом…

Увезли их после обеда. Я долго стояла у ворот и смотрела вслед ушедшим машинам.

«Что-то ждет Ритку? Что-то ждет их всех?»

Я вернулась в барак. Все было в точности, как в моем сне: бумажки, мусор, пустые нары, опустевший барак и я одна.

Я сидела и плакала, когда мне пришли сказать, чтоб перебиралась в седьмой барак. Наш тринадцатый шел на слом.

Я перебралась. Но с горя — слегла. На третий день ко мне, помню, подошёл новый начальник.

— Врач говорит, вы заболели с горя: потеряли друга. Могу понять вас… Но советую завтра выйти на работу… Все же рассеетесь с людьми. Познакомитесь с новой бригадой. Мы пока не будем требовать от вас нормы.

— Спасибо, начальник, я выйду на работу. Пожалуйста, туда же, на рыбный склад.

— Да, да. Вы зачислены в ту бригаду…

На складе царило большое оживление. В бухту Нагаева пришел ледокол и привел за собой целый караван судов. Мы спешно освободили бочки от снега, подкатывали их к воротам, а когда одна за другой подъезжали грузовые машины, мы грузили бочки с кетой и горбушей.

В помощь нам подключили бригаду мужчин. Мы быстро все перезнакомились. В основном, как и мы, 58-я статья, и среди них ленинградский писатель Юлий Соломонович Берзин. Как раз перед арестом я прочла его роман «Возвращение на Ифаку».

В теплушке нас усадили рядом, я сказала, как мне понравился его роман, и спросила, почему не Итака, а Ифака?

Он охотно объяснил, что древние греки произносили именно так — «Ифака».

Мы ели черный хлеб (обедали мы по-прежнему вечером, вместе с ужином), и мужчины предложили нам икры.

Откуда? Они при нас вскрыли одну из бочек с кетовой икрой.

А мы поделились с ними хлебом. Потом бочку забили, и мы все дружно выпили чаю с сахаром, которым нас угостил начальник склада.

Я очень беспокоилась о Маргарите. Где она, как они там живут?

Из новых заключенных — в седьмом бараке — я больше почему-то сблизилась с эстонкой Мартой (Мартой Яновной) и москвичкой Машей. У Марты трое детей остались с мужем и ее матерью.

Следствие было тяжелым. Следователь, женщина, держала ее на ногах по двое суток и методично била кулаком по левому виску. В результате левый глаз превратился в кроваво-красный шар и почти выкатился из орбиты. Марта потеряла сознание, и ее пришлось отправить в тюремную больницу. Все-таки упорная эстонка ничего на себя не подписала…

В этом бараке была в основном одна интеллигенция. И мы скоро путем сравнений выяснили, что в РСФСР ни в одной области женщин не били, лишь мужчин, а в республиканских НКВД следователи били и женщин. В Грузии, с приходом к власти Берии, даже пытали.

Маше было двадцать семь лет, коренная москвичка, очень умная, немного взбалмошная. В Магадане она находилась уже третий год и за это время насмотрелась и наслышалась о многих несправедливостях. Что же делает Маша (жаль, не помню ее фамилии)? Она описывает в письме в ЦК все нарушения законности и заканчивает так: «Если это у вас случайности, то немедленно уберите их; если это система, то прошу меня расстрелять, так как жить при такой системе мне слишком противно и я не желаю!» И полный адрес, даже номер барака. Письмо ухитрилась переслать с кем-то из отъезжающих. Но из Москвы начальнику лагеря прислали копию письма, запрос о характеристике Маши, а также на обследование ее психиатрами. Начальник намек понял. Он долго вместе с молодым психиатром уговаривал Машу согласиться отдохнуть в психиатрической лечебнице. Ведь иначе ее расстреляют. Ее, конечно, не уговорили, молодой врач решил спасти ее от расстрела даже против ее желания.

Маша все-таки попала в магаданский сумасшедший дом, где пробыла полгода.

Когда я узнала об этом, выразила свое сочувствие. Маша усмехнулась.

— Мне совсем там не было плохо… Во-первых, там много интересных людей. Некоторые просто нервнобольные, им дали возможность отдохнуть год-другой. Иначе бы они просто погибли, понимаешь?

— А во-вторых?

— Стас полюбил меня… Он хороший человек — красивый, умный, добрый. А я была так одинока… но мне уже хотелось жить, и я поверила Стасу, что всё это преходяще. Понимаешь, не навсегда. Что я молода и еще увижу нечто совсем другое.

Я напомнила Маше эти ее слова в апреле 1961 года, в день, когда чествовали Гагарина (с его первым полетом человека в космосе). Мы стояли у раскрытого окна в нашем номере гостиницы «Пекин»: я, мой муж Петринский, Маша с мужем — Давидом Абрамовичем. Московское небо пылало огнями фейерверков.

А я невольно вспомнила прекрасное чудо полярного сияния в зимнюю ночь на реке. Об этом я не стала рассказывать, только подумала, что вряд ли Гагарин видел в космосе такое прекрасное

чудо, видеть которое сподобилась я.

С Машей я тогда в бараке подружилась более, чем с другими, но продолжала тосковать и беспокоиться о старом друге — Маргарите.

Утром мы отгрузили последние бочки с икрой. Очень устали и теперь нехотя отбрасывали снег с оставшихся бочек. В раскрытые ворота рыбного склада въехал грузовик. Добродушного вида шофер, в кожаной куртке на меху, выпрыгнул из кабины и спросил Валентину Мухину.

Когда я подошла, он передал мне письмо от Маргариты и попросил к четырем часам приготовить ответ, он за ним заедет.

— Плохо твоей подружке, — сказал он мне. Я засыпала его вопросами.

— В письме всё есть. А что я могу сказать? Мое счастье, что я шофер дальних рейсов, а то загнулся бы уже просто-запросто. Лесоповал — произвол полнейший, жаловаться бесполезно. Она в письме просит помочь, дурь это — чем ты можешь помочь, такая же зека? Если хлеба сможешь собрать для нее — собери, я отвезу. Они там так голодают просто-запросто.

Он уехал… Я прочла Ритино письмо, потом дала прочесть Маше, Марте и другим женщинам. Они пришли в ужас.

— Воистину утопающий за соломинку хватается, — сказала Марта Яновна.

Маргарита писала о том, что работа ужасная, норму выполнить они не в силах, на работе с раннего утра до одиннадцати вечера (как мне это было знакомо!), что питание скудное, просто морят голодом. Произвол полнейший: избивают, насилуют. Какой-то кошмар!

«Правда, меня не били, — уточняла она в письме, — но я не огрызаюсь и стараюсь изо всех сил… до обморока. Вряд ли я выдержу даже месяц такого существования и не на кого мне надеяться, не у кого просить помощи, кроме тебя, Валюша, помоги мне! Ты такая умная, такая изобретательная, придумай что-нибудь.

Валя, спаси меня. Спаси!

Маргарита».

Пока женщины читали и перечитывали это письмо, я ушла в теплушку и сидела там у огня, растерянная.

Что делать? Как ей помочь?

Когда я немного пришла в себя, вся бригада собралась в теплушке. Рядом сидела Маша.

— А что, если ей посоветовать притвориться сумасшедшей? — шепнула она мне. — В психлечебнице были

такие. Стас нам поможет.

— Ей нельзя в сумасшедший дом. Слишком впечатлительна! Она по правде сойдет с ума.

— Но нельзя же оставить ее в такой беде!

— Что-нибудь придумаю. Должна придумать, раз она так верит в меня.

И я стала думать. Думала день и ночь, даже когда спала, потому что, когда просыпалась, мысли были заняты проектами, один фантастичнее и нелепее другого.

Дня через два, когда я утром стояла с бригадой на разводе и, занятая лишь одной мыслью, как помочь, тупо смотрела на забор, вдруг как-то все прояснилось и я увидела, что на заборе висят штук пятнадцать ящиков почтовых и на каждом был написан прямой адресат:

1. Начальник лагеря.

2. Начальник НКВД г. Магадана.

3. Главный прокурор СССР.

И т. д. и т. д.

Но мое внимание привлекла надпись: «Начальник всех северо-восточных лагерей тов. Вишневецкий».

Резиденция начальника всех северо-восточных лагерей находилась у нас в Магадане.

Фамилия Вишневецкий вызвала у меня улыбку: однофамилец нашего саратовского Вишневецкого, у которого я во время допроса слопала пирог? История была довольно комичная, и вечером я рассказала женщинам в бараке, как это было.

Я тогда долго не подписывала протокол, то есть не желала сознаваться в несуществующей вине. Однажды привозят меня вечером на допрос, и мой следователь Александр Данилович Щенников мрачно говорит:

— Ну вот, допрыгались. Не хотели подписывать, а теперь с вами будет говорить сам Вишневецкий (заведующий отделом), он-то не будет с вами цацкаться, как я.

И вот мы в кабинете Вишневецкого.

Щенников скромно уселся в сторонке на диване, у окна — я и какой-то лейтенант, перед которым лежала пачка листов бумаги.

Любезно пригласив меня садиться, Вишневецкий затем произнес целую речь, минут на десять-пятнадцать, убеждая меня подписать злосчастный протокол. В начале его речи вошла миловидная буфетчица в переднике и кружевной наколке на кудрях и поставила перед ним большой кусок горячего пирога с мясом и бутылку крем-соды.

Он не обратил на нее никакого внимания и убеждал меня пожалеть себя, пока мне не отбили почки или еще каким другим

образом не покалечили меня.

— А вы молода, талантлива, и вам еще жить да жить. Так что, Валентина Михайловна, будете подписывать?

— Вы меня извините, — произнесла я виновато, — но я не поняла ни слова из того, что вы говорили…

— Как то есть?

— Я невольно смотрела на этот пирог и… ничего не соображала…

— Вы что, голодны, что ли?

— Неужели сыта?

— Но вы же обедали!

— Вы бы этот обед сами есть, безусловно, не стали.

— Отчего?! Что там было на первое?.. Гм, на второе?..

— На первое щи несъедобные, на второе каша с вонючей рыбой, осклизлая, синяя… Да…

— Ну, пожалуйста… — И он придвинул широким жестом мне свой пирог.

Я поблагодарила, начала с аппетитом есть… Потом взглянула на крем-соду и сказала:

— Мама всегда обо мне говорила: «Наша Валька, как утка, куска не проглотит, чтобы не запивать».

Он молча придвинул мне и крем-соду. Доедая пирог, я мельком взглянула на своего следователя. Щенников злорадно усмехался почему-то. Покончив с пирогом, я поблагодарила и заявила, что теперь буду слушать внимательно.

Но Вишневецкий ограничился одной-двумя угрозами и советом немедленно подписать протокол.

— А чего вас тут посадили, — обратилась я к лейтенанту, — перед вами чистая бумага… Мои показания, что ли, записывать?

Лейтенант пожал плечами.

— Так пишите, буду говорить…

Все трое явно оживились, и я заговорила:

— Конечно, пирог был очень-очень вкусный. Мама только в детстве пекла такие пироги. Еще раз спасибо. Но… какой бы вкусный ни был пирог, вы же понимаете, надеюсь, что все же, как писатель, хоть и начинающий, даже за очень вкусный кусок пирога не могу подписать явную чушь. Клеветать на себя и своих товарищей…

— Ваши товарищи, кстати, все подписали, — пренебрежительно заметил Вишневецкий.

— Вы же их нещадно избивали… Кстати, насчет пирога, вы попросите себе еще кусок, вам, как начальнику, дадут… А еще лучше два куска: Александра Даниловича угостить. Еще раз спасибо за пирог. Но подписывать за кусок пирога… даже за

целый пирог, я, конечно, не буду.

Вишневецкий был довольно красивый мужчина, но гнев явно не шел ему: он вдруг так подурнел, что Щенников испугался.

— Забирай ее к чертовой матери, — завопил Вишневецкий, — я ее видеть не могу!

— Если принять валерьянку, — начала было я… но не закончила умного совета, так как Щенников выволок меня в коридор.

— А пирог был вкусный…

Щенников застонал. В бараке хохотали до упада, только одна лишь тетя Тоня, домработница из Кремля (хозяина расстреляли, а ей дали десять лет), выразила сомнение: не вру ли я? Но ей сказали: «Это же Валькин стиль, вспомни комиссию из Москвы».

— Да, — улыбнулась тетя Тоня, — она тогда уж так ляпнула, меня чуть кондрашка не разбила от страха за нее. Ведь надо было сказать, что такое количество овса на завтрак, обед и ужин сделает счастливой любую лошадь, а нас делает глубоко несчастными. На овсе-то мы сидим уже четыре года.

— Валя, а вдруг это тот самый ваш саратовский Вишневецкий, — сказала Марта Яновна.

— Нет, наш Вишневецкий, кажется, умер. Это однофамилец.

Я не сказала о том, что Вишневецкий расстрелян. В посылке, которую я получила из дома, в обрывке газеты (в нее был завернут мармелад) я прочла, что начальник НКВД Стромин и Вишневецкий приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

Почему-то мне было неприятно рассказывать об этом.

Утром я опустила в почтовый ящик на имя начальника всех северо-восточных лагерей заявление с просьбой срочно принять меня по крайне важному и серьезному делу.

А дня через два мне сказали, чтоб я не ходила на работу, так как меня поведут на прием к Вишневецкому.

— Быстро как! — удивились женщины. Уходя на работу, все пожелали мне удачи.

Резиденция начальника лагерей занимала половину здания НКВД, только ход был с другой стороны. В приемной ждали одни мужчины, все бывшие заключенные, работающие теперь в Магаданской области. Все по одному и тому же вопросу: с просьбой отпустить их на материк.

Наконец подошла моя очередь. Захожу в просторный, хорошо обставленный кабинет. В глубине его за письменным столом сидит наш саратовский Вишневецкий, живехонький, и невозмутимо смотрит на меня.

— Я вас слушаю.

Не показав и вида, что я его узнала, стала рассказывать ему о Маргарите Турышевой, взывала к его человечности и умоляла ее спасти.

— Валентина Михайловна, вы меня помните? — неожиданно спросил он.

— Конечно помню. Это не вы придумали — не давать мне спать?

— Нет, не я. Стромин.

— А теперь мне отменили приговор. Назначено переследствие.

— Знаю. С первым пароходом вы едете в наш Саратов. Что же мне сделать для землячки?

— Спасите Турышеву, это и будет для меня.

— Ладно.

Он взял большой лист бумаги и начал наносить на него анкетные данные о Маргарите. По счастью, я их знала наизусть, и он все записал.

— Значит, две профессии, — задумчиво отметил он, — балерина и геолог.

— Да, окончила балетное училище, три года работала в Свердловском театре оперы и балета, потом окончила геологический техникум и работала уже геологом… Спасибо вам! Я так благодарна. Она в ужасном там положении. Прочтите ее записку. Он прочел и, покачав головой, вернул ее мне.

Записал название участка, где она находилась на лесоповале.

— Ну, а что мне сделать для вас?

— Спасибо. Не надо ничего. С первым пароходом я уезжаю.

— Ладно, я подумаю сам.

Он проводил меня до двери и неожиданно сказал:

— А у меня ведь тоже к вам просьба.

— О, с удовольствием сделаю, что могу. — И так как он слегка колебался, я добавила: — Передать привет Саратову?

— Вроде того. Когда вас приведут к новому следователю, сбегутся взглянуть на вас все, кто знал Валентину Михайловну в тридцать седьмом году.

— Так уж сбегутся… — усомнилась я, — поди, все забыли меня.

— Нет, вас помнят. Когда я два года назад уезжал из Саратова, о вас рассказывали целые легенды, что было и чего не было. Вас не забыли. Так вот, когда ребята соберутся, вы им скажите: «А Вишневецкий шлет вам привет!!» И расскажите им всё, что вы знаете обо мне.

— Но я так мало о вас знаю!..

— Больше, чем знают они. Сделаете это? А вашей подруге я

помогу.

— Конечно сделаю.

— Ну, вот спасибо, желаю вам счастья!!

На этом мы расстались.

Вишневецкий выполнил все свои обещания. Уже на следующий день утром на разводе мне сообщили, что я направлена на другую работу. Никто не знал, на какую именно, где-то в городе.

Мне не хотелось расставаться со своей бригадой, к которой я уже привыкла, и я скорее огорчилась, чем обрадовалась.

Маша и Мария Яновна расцеловали меня и исчезли за воротами в утреннем тумане.

— Иди пока в барак, — сказали мне, — тебе к девяти часам. Отдыхай пока.

Вишневецкий устроил свою землячку в общежитие НКВД.

— Что я здесь должна делать? — спросила я у коменданта. Он почесал затылок.

— Должность новая… С сегодняшнего дня ввели. Наверное, наблюдать за порядком. Ну, мне что-нибудь помочь.

— Уборщицей?

— К нам по субботам и средам приходят две женщины, делают генеральную уборку. Моют полы. А пока — вот огнестрельное оружие, все виды пистолетов в этом шкафу. На ключ. Вот тряпки. Совсем запылились.

Протерев тряпкой не то наган, не то еще что-то, я вдруг вспомнила, что у меня 58-я статья, пункт 8 — террор. На меня напал неудержимый смех.

Комендант посмотрел на меня с улыбкой.

— Хорошо, что такая веселая.

В дверях стоял следователь, довольно полный, лет сорока.

— Ей можно веселиться. Была бы у нее 58-я статья, вряд ли бы смеялась.

— А какая, по-вашему, у меня? 162-я? «Вор в законе»?

Он усмехнулся:

— Нет, конечно. — Он внимательно разглядывал меня. — Халатность, я думаю, или что-то в этом роде.

Я молча закончила перетирать оружие и красиво разложила его в застекленном шкафу.

Несмотря на то, что этот следователь относился ко мне очень тепло, я так и не сказала ему, какая у меня статья: боялась подвести Вишневецкого.

Я вдруг поняла перемену, происшедшую с Вишневецким, — он стал мягче, добрее, отзывчивее. Да, после того, как сам был арестован, перенес следствие, быть может, клевету, приговор к

расстрелу. Надеюсь, теперь он будет добрее и человечнее не только к землячке.

С первым пароходом я простилась с друзьями и выехала во Владивосток.

Это было 24 мая. А на другой день в Магадан привезли Маргариту.

В пересыльном лагере на Черной речке я сразу написала письмо маме и Маргарите, где указала, что пока жду этап в Хабаровск. Когда будет — не известно. Очень скоро я получила письмо от Маргариты. Взволнованное, счастливое, полное благодарности.

Она писала, что ее привезли в Магадан 25 мая и доставили прямо к Вишневецкому. Тот тут же вызвал к себе по телефону директора театра.

— Перед вами сидит та балерина, о которой я вам говорил.

— Очень благодарен. Балерин нам не хватает. Она пойдет со мной?

— Комната ей приготовлена?

— Да! Да!

— Последние формальности на сегодня. Он вызвал секретаршу, Маргариту поставили на учет, и она теперь раз в месяц будет отмечаться в НКВД, а в лагерь уже не пойдет. Ее зачислили балериной в труппу оперетты. Дали комнату в доме, где живут артисты.

«Когда я уходила, — писала Маргарита, — начальник всех северо-восточных лагерей сказал мне:

— Счастлив человек, у которого в беде находится друг, который кидается спасать его, совсем не думая о себе.

Это он говорил, Валя, о тебе. И еще мне показалось, что этот властный человек пережил большую беду и у него в тот момент не оказалось ни одного друга, может, только враги…

В театре встретили все меня очень добро, ну не все… многие.

На Черной речке я была два месяца, но писем от Ритоньки больше не получала.

Зимой она перевела моей маме в Саратов немного денег и прислала вместо письма афишу, где упоминалось ее имя.

Больше я никогда о Маргарите ничего не слышала…

Когда я освободилась (это было 1 июня 1946 года) и мы с мужем поселились в Ровенском районе Саратовской области, в глухом селе на границе Казахстана, я написала Маргарите письмо в Магадан. Письмо пришло обратно, так как адресат выбыл.

Тогда я написала директору театра и просила его передать письмо актрисе, дружившей с Турышевой. Я просила ее написать мне о дальнейшей судьбе Маргариты. Объяснила, кто я.

От нее ответ я получила довольно скоро. Она писала, что относилась к Маргарите, как к родной дочери, очень любила ее. Обо мне слышала, как ни странно, не от Маргариты, а от Вишневецкого, который дружил с актерами и рассказал однажды, как я убеждала его спасти Маргариту…

Осенью 1945 года Маргариту Евгеньевну Турышеву по ходатайству Магаданского обкома КПСС реабилитировали. Она тут же собралась и уехала на родину в Свердловск повидать мать. Обещала друзьям писать. Но ни одного письма никто не получил.

Опасаясь, что она заболела в Свердловске, Вишневецкий по просьбе директора театра запросил Свердловск. Оказалось, что, во-первых, Турышева не приезжала ни в Свердловск, ни в Свердловскую область. И во-вторых, мать ее умерла в 1941 году. И ведь какая скрытная: такое горе было, и никому не сказала.

«Странно, что она не написала вам, — удивлялась автор письма, — ведь ваша мама не меняла адрес в Саратове».

Я медленно сложила письмо и вспомнила, что Маргарита еще в ярославской тюрьме говорила мне: «Когда освобожусь — ни за что не вернусь в родной город, где люди знают, что я сидела. Уеду на другой конец России».

Так она и сделала, обрывая все концы, все дружеские связи.

Все же я рада, что облегчила ей последние годы ее заключения. А мне предстояло еще целых пять лет тяжелых страданий…

Когда меня в Саратове привели к какому-то незнакомому следователю, он едва успел заполнить анкету, как сбежались все молодые следователи, которые знали меня в 1937 году и, действительно, помнили хорошо.

Они так бурно мне радовались, а я им, что новый следователь от удивления только пучил глаза.

Они уселись полукружком вокруг меня и расспрашивали, где я была, на каких работах, как себя чувствую. Я им рассказала, как мы рыли траншеи в Магадане для водопровода, стоя по колено в ледяной воде, метр — земля, второй метр — вечная мерзлота. Потом я спросила о судьбе Саши и Константина Ивановича. Оба оказались на Колыме…

«Но это ведь в ведении Вишневецкого, — подумала я, — неужели он не поможет своим бывшим товарищам?» И тут я вспомнила:

— Да, а Вишневецкий шлет вам всем привет! Словно разорвалась бомба. Все ошалело уставились на меня.

— Он с вами вместе ямы копал? — неимоверно фальшивым тоном сожаления спросил один из следователей. Всю жизнь ненавижу фальшь в любом виде!

— Какие ямы?! — вскрикнула я возмущенно. — Он же начальник всех северо-восточных лагерей, понимаете? Я у него на приеме была, просила спасти мою подругу — она просто погибала на лесоповале.

Они ошалели. Они превратились в статуи. Так оказалось, что я о Вишневецком действительно знаю больше, чем они.

Побледнели? Да. Некоторые из них были почти на грани обморока. И чего они так испугались? Обрадоваться… конечно, им было не обязательно. Если они думали, что расстрел ему заменили лагерем, то можно удивиться. Но так испугаться?!

Они, вероятно, все дружно давали показания на него, может даже на очной ставке. Но ведь они не спасли в свое время ни Сашу Артемова, ни Константина Ивановича.

Они клялись уйти отсюда — пустая болтовня, никуда не ушли, до сих пор здесь. Ушли только Саша и Константин Иванович, за что и поплатились своей свободой. Может, и жизнью. И я сказала безжалостно:

— Да, если вдруг вас постигнет судьба Артемова и вы попадете в северные лагеря… вы же будете в полной власти Вишневецкого. Артемову он должен помочь, и Константину Ивановичу тоже.

Я оглянулась. В комнате, кроме нового следователя, уже никого не было. Их как ветром сдуло.

Переследствие прошло хорошо, было установлено: всё неправда, всё клевета.

Щенников работал в Москве — Берия забрал его к себе в аппарат. Но когда-то он меня не обманул: то, что он не привел в деле ни одного вымышленного факта, сыграло свою роль.

— Разбирать-то нечего, одни голословные обвинения, — сказал следователь.

Дело послали на утверждение в Москву. И все в камере, и начальник тюрьмы, и врач — все знали, что я скоро буду на свободе.

Уже месяц, как закончилось переследствие, пошел другой, третий, четвертый, пятый, шестой, а ответа из Москвы всё не было.

Мама и сестра были так близко, всего за несколько кварталов, и я не видела их четыре года. Шел март 1941 года…

Я старалась держать себя в руках. Как обычно, рассказывала, но… однажды сорвалась. У меня был сильнейший сердечный приступ. Около меня долго возились врач и медсестра, делали уколы, давали лекарство. Наконец приступ прошел. Все сидели притихшие, огорченные. В камеру вошел начальник тюрьмы, остановился возле моей койки.

— Что же это вы, Мухина? Надо держаться. Ведь у вас дела очень хороши. Я звонил насчет вас в НКВД — освободят непременно, либо с полной реабилитацией, либо с зачетом срока, освободят непременно. Это у них всё впереди, — и показал на моих товарищей по камере, — а у вас всё позади.

— Но почему так долго нет ответа из Москвы?

— Так ведь вас сотни тысяч, если не миллион… Там заседают день и ночь. Потерпите немножко.

— Дайте мне хоть свидание с матерью и сестрой! Пожалуйста!

— Стоит ли в такой тяжелой обстановке? Скоро домой пойдете…

— Стоит, надо… Я больше ждать не могу…

— Ладно, свидание будет. Давайте их телефон. Позвоню. Если вдруг придет завтра, послезавтра освобождение, пусть встретят вас у ворот тюрьмы.

Свидание состоялось, между нами был широкий прилавок, и мы не могли дотянуться друг до друга, чтоб поцеловаться. Тогда мы поцеловали друг у друга руки.

Они плакали всю дорогу домой, а я — придя в камеру. Затем принялась учить адреса, по которым надобно сходить, когда освобожусь.

Все адреса выучила.

Вызвали меня 14 апреля 1941 года. От радости у меня ноги стали ватными.

Я раздала все свои вещи (у них всё впереди, а у меня позади) и, шатаясь от счастья, как пьяная, сошла по лестнице, без вещей.

Меня завели в кабинет начальника тюрьмы, за столом сидел какой-то работник НКВД. При виде моего блаженного лица он зажмурился.

— Садитесь, — сказал он хрипло. «Наверное, что-нибудь подписать о неразглашении», — подумала я.

— Прочтите и распишитесь, — он пододвинул ко мне лист бумаги. Там черным по белому было сказано, что мне вместо десяти лет заключения присуждается… восемь… Сидеть еще четыре года.

Там было много чего еще написано, но я уже ничего не понимала. Следователь мягко объяснил мне, что у меня переквалифицировали статью. Никакого террора, никакой диверсии, вместо пунктов 8 и 11 стал пункт 10б… Поэтому восемь лет вместо десяти и никакого лишения в правах.

— Но откуда они там, в Москве, взяли эту самую агитацию?! — вскричала я с негодованием. — Меня же в ней не обвиняли. Наоборот, переследствие установило, что я и все в

нашей «группе» вообще ни в чем не виноваты, что это была клевета. Вадима Земного. Я же читала сама эти документы, что отослали в Москву. Откуда же?

И тогда он мне рассказал:

— Я вам скажу… Только, пожалуйста, в камере не рассказывайте. Дело в том, что у нас весьма опасное положение, того гляди, нападут фашисты, понимаете? До первого марта тысяча девятьсот сорок первого года всех переследственных выпускали, а с первого марта выпуск прекратился. А ваше заявление разбирали пятого марта… Понимаете?

— Какая-то дичь! Одни на свободе потому, что их заявление разбирали до первого марта, другие остаются в тюрьме лишь потому, что… — Я захлебнулась, мне перехватило горло.

— Не завидуйте им. Всех, кого выпустили, забирают снова. Побыли две-три недели дома. Вот и всё.

— Второго ареста я бы, наверное, не перенесла. О господи! Значит, мне возвращаться обратно в Магадан… Этого не будет… Прыгну по дороге в море.

— Нет, нет, совсем не в Магадан! Теперь другой лагерь.

Он явно радовался, что хоть этим мог успокоить меня.

— Вас направляют в Карлаг… Это полуинвалидный лагерь. Там очень хорошо, знаете… — И он стал расписывать мне Карагандинский лагерь, как курорт…

И я снова поднималась по лестнице, только в другую камеру, к другим людям.

Когда новые товарищи стали расспрашивать меня, кто я, откуда, и задавать другие вопросы, я обнаружила, что онемела… Ни одного слова выговорить не могла, только разводила руками или отмахивалась.

— Оставьте женщину в покое, — сказала красивая, толстая дама, как потом оказалось, оперная певица, — видите, она не в себе.

И я опять осталась одна в пространстве… Скоро и тюрьма исчезла. Время как-то сразу передвинуло меня на несколько часов вперед. Я бросилась к двери и забарабанила.

— Пожалуйста, скажите начальнику тюрьмы, что я прошу его принять или вызвать меня. Умоляю! Моя фамилия… — Речь ко мне вернулась. Начальник тюрьмы пришел сразу, пряча глаза, как будто ему было непереносимо стыдно.

— Вы тут ни при чем! — успокоила я его. — У меня просьба к вам. Дайте внеочередное свидание с мамой, с сестрой. Сообщите им об этом. Буду очень вам благодарна. Боюсь — вдруг этап. Уеду не простившись.

— Завтра утром сообщим.

Он сообщил. К маме и сестре пришел солдат и сказал: разрешено внеочередное свидание и чтоб они захватили для меня теплые вещи. Мама всё поняла.

Тяжелое это было свидание… И они и я крепились, чтоб не заплакать, не расстроить друг друга еще больше.

Около года они ждали меня, просыпались при каждом скрипе калитки.

— Но как же так, — твердила мама, — ведь теперешний твой следователь сказал, что тебя обязательно освободят. Значит, он лгал, обманывал?

— Нет, мама, он сам был уверен в этом. Просто выпуск прекратили с первого марта.

— Разговорчики на эту тему прекратить! — сердито сказал дежурный.

И снова разлука, снова этапы, другой лагерь — неподалеку от Караганды — Карлаг. Еще долгих пять лет, когда мне пришлось пережить гораздо больше, нежели я пережила в магаданских лагерях.

И хотя меня все любили за мои рассказы (кроме начальства), близкого друга у меня уже не было… И слишком часто меня терзало ощущение, что я одна в пространстве.

На темной дороге

«Уважаемая Валентина Михайловна, Вам пишет… Валя, это ты? Я как прочла книгу, сразу поняла, что это ты! Не только по фамилии (бывают однофамильцы), но книга похожа на тебя. А еще ты говорила, что, если выживешь, обязательно будешь писателем.

Я так обрадовалась за тебя, ты не представляешь! И мой муж Костя тоже очень обрадовался. Я ему без конца рассказывала о тебе…

После твоих рассказов я уже не могла жить, как прежде. И я крепко «завязала».

И если я теперь порядочный человек, работаю в бригаде коммунистического труда и у меня такой муж, как Костя — бригадир Константин Федорович Фоменко, и у меня двое детей — Валентина и Давид, — то всем этим счастьем я обязана тебе.

Я ведь тогда совсем ожесточилась, на весь мир (хотя сама была одна во всем виновата), а ты размягчила мою душу, мою совесть…

Когда тебя увели, я поняла, что к прошлому для меня уже нет возврата. Та Сюзанна Ленокс, про которую ты нам рассказывала, упала еще ниже, чем я, и то поднялась.

Валя, ты меня помнишь?

Я Зойка Косырева, по кличке Кусачка… Это мне потому дали такую кличку, что в драке я сразу кусалась, как дикий звереныш.

Неужели это была я? Даже как-то не верится…

Если ты мне ответишь (все-таки вдруг это не ты), то я опишу тебе всю мою жизнь после Карлага. И как я наконец попала в свой родной Севастополь. Костя тебе тоже напишет, от всего сердца. Посылаю тебе свое фото. Вот мы здесь — вся семья! Жду с нетерпением письма. Жива ли твоя мама, сестра? Кто твой муж? Где ты живешь? Пока пишу на издательство.

С сердечным приветом,

Зоя Фоменко.

P. S.: Валя, а ты не думаешь описать нашу жизнь в лагере? Знаешь, как это было бы всем интересно. Некоторые ведь всё представляют совсем превратно. Костя говорит, теперь такое время, что уже можно писать всю правду.

Мы называли вас «контрики», а вы были герои…»

Из конверта выпала фотография. Две лукавые ребячьи рожицы, худощавый мужчина, чем-то похожий на Ван Клиберна, и круглолицая, кудрявая женщина с упоенно счастливыми глазами. Неужели Зойка Кусачка?!

…На темной дороге мы встретились с Зойкой. Шел третий

год войны и шестой моего заключения. На фронте был мой брат Яша. На фронте были мои друзья, и, судя по всему, там должно было быть то мерзкое существо, которое оклеветало меня в 1937 году.

Было бы ужасно, если бы этот подлец погиб почетной смертью вместе с теми храбрыми и честными бойцами, что отдавали жизнь за Родину. Потом оказалось, что я напрасно беспокоилась — клеветник всю войну провел в тылу.

Я часто получала письма из дома от мамы и сестренки Лики. Брат писал с позиции… Я читала его письма женщинам, и они плакали. Ведь Яша был моим двоюродным братом. От некоторых отреклись родные братья и даже сыновья.

В лагере я находилась в хорошем обществе, моя мама могла не беспокоиться: почти все члены партии, у многих научные степени. Теперь они все реабилитированы, большинство посмертно, некоторые при жизни, как и я.

В лагере и встретила я своего будущего мужа Валериана Георгиевича Петринского, преподавателя русского языка и литературы. Летом он окашивал арыки, а зимой плел корзины. Тогда мы оба были такими «доходягами», что нам и в голову не приходило, что у нас впереди любовь и счастливый брак.

Мы жили в длинных бревенчатых бараках на Волковском участке Караджарского отделения Карлага. Не знаю, почему наш участок назывался Волковским? Может, потому, что вокруг была необозримая степь с голубыми сопками по горизонту и действительно много волков.

Однажды три волка провожали меня вечером вдоль дороги. Я шла быстро, и они не отставали, я медленнее — и они замедляли шаг. Так проводили до самого участка, но почему-то не напали.

Мы ходили всюду без конвоя. По существу, это был обыкновенный целинный совхоз, но работали там заключенные — мы.

Нас привезли туда большим этапом перед самой войной. Мы сами построили себе бараки, конюшни и фермы, потом насосную станцию на речке (вот уже и забыла, как она называется). Потом года два работали на мелиорации — копали арыки. Это была изнурительная работа — от зари до зари. Когда по арыкам побежала чистая, прозрачная вода, мы разбили огромные, до самых сопок, огороды. Овощи шли на фронт. Построили и сушильный завод. Теперь зимой так аппетитно пахло сушеным картофелем, луком, морковью и свеклой. Тем, кто там работал, можно было есть овощи хоть целый день.

Все девять лет своего заключения я была на общих работах. Друзья не раз пытались устроить меня в контору, но я наотрез

отказывалась: чернорабочей я чувствовала себя свободнее. Не надо было никому угождать под страхом попасть на общие работы. Я могла себе позволить смеяться над тем, что смешно, и отворачиваться от тех, кого я не уважала.

К несчастью, в число тех, кого я не уважала, попал начальник участка Бабин. Про него говорили, что он бывший кулак. Он ненавидел интеллигенцию… Не знаю почему. Он старался нам портить жизнь чем только мог. Однажды я сказала в бараке, что хотела бы одного: чтоб в день, когда я освобожусь, его арестовали. (Как ни странно, впоследствии почти так и вышло. Он был арестован за растрату и превышение власти.) Кто-то передал ему мои слова — Бабин меня возненавидел.

Был выходной день. Предстояла масса удовольствий. Можно было помыться в бане, отоспаться, почитать, навестить знакомых, а вечером сходить в клуб на концерт. Должна была выступать артистка, чьи песни были размножены на пластинках и успели надоесть. В письме, которое я получила из дома, сестренка переписала для меня стихотворение Симонова «Жди меня».

«Вот и ты так верь, — писала Лика, — и мы будем тебя так ждать…»

Стихи мне понравились. Я шла и бормотала:

Как я выжил, будем знать,
Только мы с тобой!
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

До меня смутно доносилась чья-то матерная ругань, кто-то неистовствовал, но мне не хотелось выходить из состояния радостной отрешенности. Когда наконец я оглянулась, я увидела беснующегося начальника участка.

— Идет себе, как артистка по Невскому! — вопил он вне себя. — Интеллигенция… — Он уточнил какая. Видимо, у него чесались руки избить меня, как он поступал с уголовниками, но не хватало смелости. Интеллигенция — сумеет обжаловать.

Боюсь, что тогда в рваной, заплата на заплате, телогрейке и широченных ватных штанах, будто с какого-то огромного «запорожца», я скорее походила на огородное пугало, нежели на «артистку с Невского». До сих пор не понимаю, что его так взбесило?

На разнарядке он как-то говорил обо мне: «Мухина как та лошадь, на которую где сядешь, там и слезешь».

Я сумела установить для начальства такое неписаное правило: если хотели, чтобы я хорошо работала, то должны были

предварительно узнать, нравится ли мне эта работа. Иначе толка от меня не жди. А рабочей силы в совхозе МВД остро не хватало. Заключенных было много — шли этапы за этапом, но работы было еще больше. Поэтому правило соблюдалось, что очень раздражало Бабина. Он никак не мог понять, по какому принципу я «выбираю» себе работу. Часто я просила то, чего другие боялись, куда посылали порой в наказание или чтоб вынудить дать взятку. Например, зимой, в январскую стужу, я шла рубить караганник для топлива.

— На караганник захотела? — гремел начальник участка, разнося провинившегося. — Смотри у меня, живо попадешь!..

А для меня это было высшей радостью. Радость начиналась, едва скрывались за холмом наши безобразные бараки, колючая проволока, огромный портрет Сталина, прикрепленный как вывеска над правлением лагучастка. Во всем этом было что-то бесстыдно-отвратительное.

Караганник стелился по заснеженным долинам, между замерзших озер. Озера вытянулись цепью по руслу пересохшей реки. Никогда я потом не видела такого огромного неба, такой чистой и глубокой синевы, таких летящих облаков. И такая светлая была здесь тишина… Однажды, в сильный мороз, я видела четыре солнца. А летом как-то был мираж — прозрачное парусное судно, наверное, с Аральского моря. Какие интересные откровенные беседы велись на караганнике! А если не хотелось даже говорить, можно было отойти далеко от всех и думать. Или прижаться к груди земли и немножко поплакать.

Я безумно тосковала по маме, сестре, брату, тете Ксении, своим друзьям, по воле, по любимой работе. По счастью, мне не пришлось узнать измены: друзья писали письма, для «конспирации» подписывались: «дядя Миша», «тетя Муська» и даже «твой дедушка Борис». А «дедушке» — всего двадцать семь лет. Он был когда-то в меня влюблен.

Конечно, было тяжело, особенно зимой, когда мы перемерзали, недоедали и недосыпали. Мы безмерно уставали, но понимали, что на фронте еще тяжелее. Но это мы понимали «умом», а в глубине души считали, что в тюрьме хуже. Все просились на фронт. И как отчаянно мы завидовали тем, кого призывали в армию.

Почти каждый вечер меня просили что-нибудь рассказать. Я прочла потом, что от сильного потрясения память либо ослабевает, либо, наоборот, необычайно усиливается. У меня как раз усилилась. Я вспоминала стихотворения, которые никогда не знала наизусть, а только читала, а теперь я их декламировала. Я помнила по именам почти всех героев Диккенса, а у него их

сотни… А рассказывала я и дома, с самого детства, тоже с продолжением на несколько вечеров. Моими слушателями были: мама, тетя Ксения, сестренка, соседки и мои школьные подруги. Мы усаживались вечерком поудобнее возле горячо натопленной голландки, на столе пел самовар, а за окном потрескивал мороз. О, как я тогда была счастлива!

В ноябре 1944 года приехал на Волковское начальник санчасти. Мы только что пообедали, я намеревалась угреться и подремать, хотя бы минут двадцать. Меня мучительно знобило.

Мы спали вповалку на нарах. У большинства не было ни матраса, ни одеяла. О такой роскоши, как подушка, простыни, мы и думать забыли. Единственной постельной принадлежностью были длинные соломенные маты. Конец мата закручивался рулоном — получалось возвышение для головы. Как сладко было, намерзнувшись, отдохнуть в теплом бараке. Я укрылась с головой телогрейкой…

Только перенеслась я мысленно домой — засыпала и уже почти физически ощущала мамину руку, тепло ее щеки, когда она мне шептала, наклонясь: «Крепись, Валька, не ты одна», — как меня растолкала Августина Рутберг. (На воле она была историк, необыкновенная, энергичная, бодрая и горластая женщина, мой хороший товарищ.)

— Ты знаешь, кто приехал? Начальник санчасти. Как это «ну и что»! Он же на воле был известный на всю Москву невропатолог. Сейчас же иди к нему. Я уже говорила с ним. Он тебя ждет.

— Зачем?

— А затем, что тебя же всю дергает… Иди скорее. Проснулись другие женщины и тоже стали меня уговаривать идти к врачу. Пришлось подняться.

Начальник санчасти мне почему-то не понравился: раскормленный, рыхлый, белобрысый, глаза бегают. Возможно, это у меня было от предубеждения против тех, кто в лагерных условиях умел держаться на ответственной работе. Первым делом он пощупал пульс и сунул мне под мышку градусник. Температура оказалась 38,4 градуса. Посмотрел рефлексы, покачал головой.

— Как аппетит?

На аппетит жалоб не было.

— Плачете? Я спрашиваю, часто плачете?

— Да.

Он записал.

— Бывает ощущение тоски, тревоги?

— Бывает.

— Навязчивые мысли есть?

— О да.

— О чем?

— О свободе.

— Раздражительность?

— Сильная. Особенно при виде некоторых людей. (Я подразумевала лагерное начальство.)

Доктор опять записал.

— Нужно стационарное лечение, — буркнул он и обратился к присутствующему здесь участковому врачу: — Отправьте первой оказией в Караджарскую больницу. А пока выпишите бюллетень.

Женщины ликовали: «Мы тебе говорили. Теперь тебя подлечат». Они укутались получше — мела поземка — и ушли на снегозадержание. А я, натянув на голову телогрейку, сладко уснула.

«Оказия» оказалась только недели через две. С вечера меня предупредили, что еду я вместе с «подконвойными» — нескольких отказчиков от работы отправляли в штрафной изолятор, возле Караджара. Попутчики были не из приятных…

Обитатели «подконвойки» остро ненавидели «политических». Они страшно возмущались тем, что «враги народа» расконвоированно живут в лучших условиях. И особенно возмущались тем, что все «контрики» уверяют, будто они сидят невинно. Последнее просто выводило их из себя. О «подконвойке» рассказывали страшные истории. Будто там проигрывают людей в карты, развратничают и безобразничают. Их бараки были опутаны тройным рядом колючей проволоки. На ночь между проволокой спускали огромных овчарок. Собаки завывали на весь лагерь. В «подконвойке» содержали бандитов, убийц, воров-рецидивистов.

В этот вечер, перед отправлением, в бараке долго не ложились спать. Сначала я рассказывала, надо было окончить давно начатую «Очарованную душу» Роллана, потом просто разговаривали, вспоминали родных, обсуждали сводки информбюро.

За бревенчатыми стенами свистел ветер. Потрескивала натопленная караганником печь. Кто сидел с шитьем у стола с висячей коптилкой, кто лежал на нарах. Августина чинила мне варежки. Я считала, что их невозможно зачинить.

— А вдруг ее после больницы отправят на другой участок? — расстроено предположил кто-то. Я заверила, что вернусь на Волковское, но мне тоже было почему-то не по себе. Маруся Брачковская, единственная из жен, которая знала, где сидит ее муж, и переписывалась с ним, стала вспоминать, как она пекла дочке Маечке ее любимые пирожки с яблоками. Кто-то записал

рецепт приготовления. У нас много говорили про всякие кушанья. Кто-то остроумно назвал это «заочным питанием».

Маруся — на зависть спокойная, тихая женщина, но, когда она негромким проникновенным голосом рассказывала о шестилетней «дочечке», у редкой из нас не щемило сердце, хотя у каждой была своя боль, своя разлука.

Но продолжаю… Утром женщины проводили меня до «подконвойки», где уже стояла грузовая машина. Конвоиры живо «погрузили» беспокойный груз. Ну и вид был у этих женщин?.. Волосы растрепаны, под глазами синяки, платья разорваны — всё нараспашку, и душа и тело. Они скалили зубы и сквернословили. Меня посадили в кабину к шоферу, что вызвало град ругательств.

Машина тронулась, друзья замахали руками, мелькнуло коварное лицо Бабина. Он довольно ухмылялся.

Штрафной изолятор, или запросто «шизо», был не что иное, как тюрьма в тюрьме: большое одноэтажное каменное здание с решетками на окнах, обнесенное тремя рядами колючей проволоки. Шизо находилось среди пустыря, на подъезде к Караджару, больница же была в самом центре отделения, поэтому я не удивилась, что вначале завезли штрафников. Пришлось и мне зайти вместе с ними внутрь помещения. И там меня ожидал весьма неприятный сюрприз.

Бабин «по ошибке», как он потом разъяснил, отправил меня вместо больницы в штрафной изолятор. Штрафников уже давно заперли в камеру, а я всё «выясняла отношения» с начальником шизо. Наружность у него была далеко не располагающей: здоровенный детина, рябой и одноглазый, со свирепо выдвинутой вперед бульдожьей челюстью, но со мной он был очень вежлив.

— Ну, хоть один отказ от работы был?

— Не было!

— Может, извините, мужа лагерного завели?

— Никакого мужа!

— Гм!

— Меня ведь в больницу везли.

— Нет. По документам в шизо…

Я указала на телефон.

— Спросите у начальника санчасти.

— Он в командировке. В Главное управление вызвали. Да… да… Видно, что самостоятельная женщина. А как к вам относится Бабин?

— Он меня терпеть не может!

— А-а! Тогда придется до выяснения посидеть вам в шизо.

Начальник изолятора почесал в затылке. Он был явно расстроен.

— Мы, конечно, будем настороже… — сказал он приглушенным голосом. — В случае чего кричите громче. Там, — он показал в сторону камеры, — они, конечно, уже не люди. Они потеряли человеческий облик. Работать не хотят, опустились, озверели… Увидите сами, что там творится. Как скорпионы в банке. Преступники, что и говорить. А вы на воле кем были?

— Писателем.

— Ай-ай-ай… Что-нибудь написали не так? А я до мобилизации работал на кожевенном заводе. Боксер был, может, слышали? — он назвал свою фамилию. — Четырехкратный чемпион. Золотой пояс чемпиона Европы имел. Да вот война… Меня еще в финскую войну контузило…

Он погремел ключами и любезно поднес мой узелок.

И вот я вхожу к «не людям». Сказать откровенно, когда за мной загремел засов, у меня похолодело в груди.

Да, на людей они походили мало. Поначалу мне показалось, что я попала не то в хирургическое отделение, не то в психиатрическую больницу. Кто был в бинтах, кто в лубках, у некоторых руки висели на перевязи. Это они так себя отделывали в драках. Синяки и шишки в счет не шли. В камере было около семидесяти женщин. На меня отовсюду смотрели их горящие злобой глаза… Глаза одичавших кошек.

Камера была высокая, просторная, окна под самым потолком. Чугунные решетки. Под окнами сплошные нары. Посредине стоял деревянный, ничем не накрытый стол, и табуретка. У противоположной стены единственный отдельный топчан для старосты камеры. Мои попутчицы с Волковского уже освоились: «Тюрьма — наш дом родной». Я присела на край нар, немного ошеломленная. Узелок положила рядом. Староста ходила подбоченившись вокруг стола. Это была статная красавица с черным шарфом на голове, наподобие чалмы. Увы, она была лысой: третья степень сифилиса (к слову, уже не заразная).

Смеркалось. За окнами скулили и гремели цепями овчарки, звенела проволока. До чего было невесело на сердце!.. Немного спустя я услышала шепот: «После отбоя… набросим ей на голову одеяло…»

То, что меня везли отдельно в кабине, то, что я задержалась у начальника шизо, не прибавило им симпатии к «контрику», то есть ко мне. Это глухое нараставшее недоброжелательство, тупую, звериную ненависть я ощущала даже затылком.

Мне хотелось плакать, но я крепилась. Где-то далеко-далеко, в прекрасном южном городе Саратове, живет мама и сестренка Лика. Я представила, как они ходят по комнате, разговаривают, что-нибудь делают. Бушевала война, они тоже там переносили

неимоверные трудности. Но они были на воле, они были вместе. Сестра только что поступила работать на военный завод.

«Неужели эти воровки и проститутки будут сейчас меня бить? Может, забьют насмерть». Видно, на это и рассчитывал Бабин.

Стоило вынести то, что я вынесла, чтоб на шестом году заключения погибнуть так нелепо. Тщетно я ломала голову и не могла ничего придумать.

Сидя на краю нар, я грустно рассматривала своих неожиданных товарок. Они тоже посматривали на меня исподлобья, так я впервые увидела Зойку по кличке Кусачка. Это была тоненькая смуглая девочка в матросской тельняшке, с синяком под левым глазом. Глаза у нее были лиловатые, как небеса за решеткой, а прическа явно опередила свое время. Много лет спустя эта прическа стала очень модной, называлась она «приходи ко мне в пещеру». Заметив, что я ее рассматриваю, Зойка скорчила гримасу и повернулась ко мне задом. Теперь у них начался вечер воспоминаний — ужасающая непристойность, рассчитанная явно на то, чтоб поразить и шокировать меня. И все же в этом было что-то детское, инфантильное. Они «фигуряли». Я невольно усмехнулась. Почему-то мне стало так их жаль, что комок подкатил к горлу. Они были в худшем положении, нежели я, гораздо худшем. Что они сделали над собой? Какие компрачикосы изуродовали эти души? «Они уже не люди». Я сделала резкое движение. Разглядывают меня. Что за манера смотреть исподлобья? На пересылках я достаточно их повидала. Правда, те не были такими отчаянными. Но все они истеричные, лживые, сентиментальные, жестокие и бесконечно несчастные, и при всей их порочности что-то детское остается в них навсегда.

Я встала и подошла к столу.

— Какая скучища! — сказала я громко. — Хотите, я расскажу вам интересный роман?

Они еще смотрели на меня с отчуждением и злобой (что я им, собственно, сделала?), но уже заинтересовались обещанной игрушкой.

— Я почти каждый вечер рассказывала у себя в бараке, — добавила я.

Лысая староста изъявила желание слушать роман и двумя-тремя оплеухами установила тишину. Я уселась поудобнее на табуретке, вздохнула и начала:

— Значит, так, действие происходит в Англии, лет сто назад. В одном маленьком городке проживал некий джентльмен по фамилии Копперфилд…

Так меня еще никто не слушал. Они ловили каждое слово. Никто не шелохнулся, даже не встал на парашу. Когда я дошла до

того места, где мистер Мордстон потащил маленького Дэви наверх сечь розгами, послышалось всхлипывание.

— Влюбленная дура! — проворчала староста. Это относилось к бедной Кларе, не сумевшей защитить сына.

Я рассказывала до глубокой ночи, когда неожиданно упала в обморок. Поднялся переполох.

— Она же голодна! — услышала я словно издалека. — Это голодный обморок, она же ничего не ела целый день.

Они извлекли на свет начатую пайку хлеба. В шизо давали хлеба по триста граммов, а это была пайка работяги граммов на девятьсот. Я отрезала ломоть и поела с солью, запивая холодной водой. Мгновенно мне стало легче.

— Кем вы были на воле? — спросила меня староста. Я коротко рассказала о себе.

— Будешь спать на моем топчане, я тебе его уступаю, — торжественно заявила она и, забрав свою постель вместе с тюфяком, перебралась на нары к девчатам. К моему великому удивлению, в шизо были матрасы, одеяла, простыни и даже перьевые подушки. Боксер постарался для своих подопечных. Лишний раз я убедилась, что на любой должности всё зависит от человека. Мои постельные принадлежности принесли, когда я еще рассказывала роман, и Зойка постелила мне постель сама.

Я заснула, кажется, раньше, чем голова коснулась подушки. А во сне видела Саратов, маму, будто дала она мне большую пшеничную пышку и назвала меня Валькой. Так она звала меня лишь в приливе нежности. Когда сердилась, называла Валечкой.

Десять дней я пробыла в штрафном изоляторе. Десять дней я грелась в лучах их любви. Они меня просто «обожали», как институтки. Они готовы были слушать меня день и ночь.

Однажды, когда я им рассказывала, вдруг открылась дверь и вошло несколько человек: работники НКВД, начальник Караджарского лагеря, позади жался смущенный Боксер. Положено было всем встать, но мои слушатели быстро легли. Я осталась сидеть.

— Продолжайте, мы тоже послушаем, — сказал работник НКВД.

Я пожала плечами и стала продолжать. Минуты через две-три он воскликнул:

— «Наш общий друг» Диккенса!

— Правильно, — улыбнулась я. Он был явно доволен тем, что определил автора.

— Пусть рассказывает, — сказал он начальнику шизо. — Никакой агитации тут нет.

Когда я уставала рассказывать, мы беседовали. Каждая

поведала историю своей жизни, явно стилизованную под Диккенса, потому что Диккенса я им больше всего рассказывала. Им уже хотелось казаться лучше в моих глазах. Никто не матерился, не говорил непристойности. Интересно, насколько бы их хватило, если бы я задержалась в шизо? Нас каждое утро приходили звать на работу — они отказывались наотрез. Но стоило мне сказать, что «хочется на воздух, что, пожалуй, я бы с удовольствием немножко поработала», как они согласились идти «ишачить». Нас поставили отгребать снег от полузасыпанного овощесклада. Деревянные лопаты так и замелькали в воздухе. Мы быстро закончили работу — ох как все разрумянились, развеселились, похорошели.

Довольное начальство, не искушая больше их терпения, отпустило «домой», то есть в шизо, где, к моему удивлению, тотчас запахло печеной свеклой и картошкой.

Вечером «свои ребята» подкинули им передачку, и мы устроили развеселое пиршество. Каждому досталось по наперстку спирта (львиную долю забрал дежурный надзиратель, а может, и Боксер), что заметно повысило общее настроение. После ужина начиналось концертное отделение — обязанности конферансье взяла на себя староста Фрося. Я прочла несколько последних своих стихотворений, меня наградили бурными аплодисментами. Зойка лихо оттопала «румбу». Фрося с худой, как скелет, зеленоглазой девчонкой исполнили «аргентинское танго». Мы старательно аккомпанировали на гребенках, ложках и губах. Одна просто поразительно подражала флейте. Нинка-Клоун — проститутка, рецидивист, — черноглазая, в черном платье в обтяжку, с белокурой челкой на лбу, спела известную блатную песню «Что ты смотришь на меня в упор». Она обладала необычайной мимикой. По-моему Нинка-Клоун была прирожденной артисткой… Бог весть почему она загубила свой талант.

С каким отчаянием, с какой угрюмой выразительностью выговаривала она хриплым речитативом (голос-то давно пропал от попоек, шалмана и сырости тюремных камер):

Кто тебя по переулкам ждал, И душа вся изнывала в страхе. Кто тебя по кабакам спасал От удара острого ножа.

После Нинки уже никто не выступал. Забросили стол на нары и все стали плясать цыганочку, мрачно подпевая себе осипшими голосами:

Там-там-там-там, та-а-ра-ра, та-ра-рам,

Там-там-там…

Я сидела задумавшись, внезапно устав. Мне вспомнился этап на Колыму — когда это было? В сентябре 1939 года. Перед этим я

уже просидела полтора года в тюрьме. Нас везли «Джурмой», и это был последний рейс корабля. Едва мы вышли в Тихий океан, начался пожар. Горело судно. В нашем трюме накалился пол. Нас было шестьсот женщин — самые разные статьи. Мы сидели, молча прислушиваясь к свисту пламени, а «преступный мир» целыми часами без устали плясал цыганочку:

Там-там-там-там…

Как я давно в заключении? Как долго тянется война. После, войны нас выпустят…

Когда наконец все улеглись спать, Зойка подошла ко мне и тихонько рассказала свою несложную историю — без «стилизации».

Родом она была из Севастополя. Отца не помнила. Он был матросом торгового флота и умер от воспаления легких. Мать работала кладовщицей в порту. Четверо детей, Зойка самая старшая. Кончила семилетку и поступила кондуктором в трампарк. Мечтала учиться на библиотекаря, потому что любила книги. Но встретила красивого парня — вора — и полюбила его. Он вовлек ее в свою банду. На первом же воровстве попалась. Отсидела. Решила «завязать», но стыдно было ехать домой в телогрейке, без копейки денег. Надумала, «только раз сработать» на вокзале и… снова попалась. Опять тюрьма, лагерь. Ожесточилась. Уже со злобой повторяла: «Тюрьма — наш дом родной».

На Зойку часто нападала тоска — «хоть вешайся», тогда она всех задирала, материлась, даже дралась, кусалась.

Ее били так, что потом она отлеживалась в больнице.

Вот и весь ее безыскусный рассказ. В заключение она сказала просто: «Когда тебя уведут, я, наверное, повешусь».

Меня увели утром. Возвратился начальник санчасти. Боксер специально ходил к нему. За мной пришла медсестра.

Прощание было тяжелым. Всплакнули. Зойка не плакала, но была «словно не в себе».

Я подарила ей на память гребенку. Более ценного у меня ничего не было.

В больнице я подробно рассказала начальнику санчасти о Зойке и умоляла что-нибудь сделать для нее. Ему удалось устроить ее санитаркой в больнице. Дня через три Зойка в белом халате и косынке очутилась перед моей кроватью и чуть не задушила в объятиях.

В больнице я лежала недели три, и, по моей просьбе, меня выписали обратно на Волковское к друзьям.

В больнице было слишком тяжело. Там я тоже рассказывала романы Диккенса, и, случалось, во время моих рассказов, кто-

нибудь умирал, словно засыпая. Почти все лежали с дистрофией. Зойку я больше никогда не видела, но, вероятно, скоро увижу! Она очень настойчиво приглашает в гости. Хочет показать новый Севастополь, воздвигнутый из руин, своих детей, мужа, завод и всех членов бригады коммунистического труда, в которой она состоит.

Меценат из Чека

…Все мы с трудом удерживались на ладони судьбы. Ураган эпохи был неистов и жесток к нам — многих сносило, как пушинку. Я держалась устойчивее других. Секрет был прост. Первую ночь в лагере я не спала. Вертелась с боку на бок, прислушивалась к сонному дыханию товарищей, некоторые стонали, иные даже плакали во сне. Я обдумывала себе линию поведения. Я не боялась умереть, но я отчаянно боялась утерять творческие способности. Выйти на Волю опустошенной, обезличенной, лишенной таланта. Что может быть страшнее? Я отчетливо понимала: чтоб остаться писателем, надо сохранить себя как личность, остаться самой собой! Не растерять, а приобрести. К утру я нашла выход. Надо просто забыть о том, что я заключенная, и смотреть на пребывание в тюрьме, лагере, как на творческую командировку. Вот и всё. Как просто! Ура! Да здравствует жизнь и творчество!

Я крепко уснула перед самым подъемом.

Шесть лет я держалась мужественно и стойко, среди товарищей всегда чувствовала себя лидером. Меня любили, я не знала одиночества. И хотя испытала много тяжелого, однако держалась хорошо. Но на шестом году моего пребывания в лагере (шел третий год войны) моя жизненные силы иссякли. Я стала, выражаясь по лагерному, «доходить».

Была глубокая осень 1943 года, я лежала не вставая в бараке на нарах. Уже никто не надеялся, что я поднимусь. Кажется, я одна не верила, что умру. И как я могла поверить, если я еще не совершила главного в своей жизни: не стала писателем, не родила ребенка, — а в далеком Саратове меня ждали мои родные мать, сестра, а на фронте был брат, и каждый час его могли убить. Он слал мне ласковые письма, каждое заканчивал словами: «Привет от фронтовика твоим товарищам по несчастью». Я читала женщинам его письма, и они плакали. В барак пришла медсестра Катя, веселая хохотушка, присела на край моих нар и, широко улыбаясь, сообщила: «Ну, Валя, теперь тебе никаких бюллетеней не надо, тебя сактировали…»

— Как это? — не поняла я.

— Ну, в общем, эта стерва, врач Савчук, говорит Дантону (так мы прозвали начальника лагеря): «Может, она год умирать будет, она, похоже, живуча, а мы ей всё выписываем бюллетень?» А Дантон всё допытывался: «Но она обязательно умрет?» Савчук заверила его, что умрет непременно. Тогда он и предложил составить акт о твоей смерти. Они и составили… Дантон говорит:

«Миска баланды и каши всегда найдется, нехай лежит на нарах и рассказывает бабам байки. Что у них есть, кроме ее баек? Кино нет, библиотеки нет, радио и то нет…» — Дальше он перешел на отборный мат.

Уходя, Катя прошептала мне на ухо: «Ты все-таки не принимай от Савчук никаких лекарств, она не заинтересована в твоем выздоровлении. Такая женщина способна на всё».

Долгими осенними вечерами, когда ветер, разогнавшись в казахстанских степях, неистово рвался в окна и двери, норовя сорвать крышу, усталые, озябшие люди, сидя на нарах, пили горячий кипяток вместо чая, настоянный на душистых травах, обычно я им рассказывала что-нибудь из моих любимых писателей: Диккенса, Коллинза, Грина, Достоевского. Чтобы упражняться в сюжете и фабуле, я сама придумывала интересные романы, но не говорила, что это мои, выдавала их на произведения других авторов. Чтоб не утерять стиля, я писала стихи на фанерке (бумаги не было). Правила, переписывала их на другую сторону, опять правила, стеклышком стирала написанное и снова правила. Стихи я читала женщинам, среди них были и профессиональные критики.

Потом все ложились спать и засыпали, а я лежала на своих жестких соломенных матах, прислушиваясь к завыванию ветра, и думала, что неужели я действительно дойду до черты, и меня рано утром на телеге свезут на место захоронения, и там мое окоченевшее мертвое тело ляжет с десятком таких же исхудалых мертвых тел доходяг в одной братской могиле.

Чудесной кличкой меня звали уголовники — «Веселый скелетик». Интеллигенты больше называли: «Кандид».

О чекисте Кузнецове я услышала впервые от «вора в законе» по кличке Косолапый. В своей среде он восхищал всех мастерством домушника. В лагере, при очередной отсидке, он был отличнейшим механиком, слесарем, трактористом, бульдозеристом. К тому же он неплохо играл на гитаре, исполняя жаргонные песенки. Воистину золотые руки были у этого парня. В наш барак Валерий Косолапый заходил к своей подружке Зинке Воробьевой по кличке Воробушек.

Вообще-то в нашем восьмом бараке помещалась только 58-я статья, а Зинка, как 162-я, находилась до прошлого года в «подконвойке», то есть в бараке, отгороженном в три ряда колючей проволокой. Зинка не раз обращалась к Дантону с просьбой перевести ее к женщинам с 58-й статьей, мотивируя свою просьбу тем, что она больше не в состоянии сидеть в «шалмане», она или повесится, или кого-нибудь «укокошит». Дантон ей категорически отказал. Тогда Зинка сшила флаг,

нарисовала на нем свастику и, убежав с работы, залезла на крышу конторы, прямо над окном Дантона, стала размахивать этим самодельным флагом.

Ее судили по 58-й статье, и она торжественно вступила в наш барак, объявив, что на целых десять лет избавлена от «шалмана».

— У меня как-то так получалось, что и на воле у меня сплошной шалман, — простодушно добавила она.

В первый же вечер, когда я рассказывала женщинам какой-то английский роман, Зинка нерешительно подошла к нам.

— А мне можно послушать?

— Конечно, Зина, садись. — Я усадила ее на свои маты.

Зинка страстно полюбила мои рассказы.

Когда я стала доходить, никто так горячо не жалел меня, как Зинка. Большинство смирились перед судьбой, некоторые и о Сталине говорили: может, это так надо, аресты невиновных.

Зинка бунтовала против судьбы, кому-то грозила кулачком, бормотала проклятия вперемежку с матерщиной.

Так вот, ее друг Косолапый, зайдя к нам в барак, подошел ко мне.

— Слышь, Валя, нашего начальника Дантона на фронт забирают — давно пора… Я вот раз двадцать просился, не берут, плоскостопие у меня. Ну вот, новый начальник у нас будет Кузнецов, в прошлом чекист, я сидел у него, когда строили канал Москва — Волга, кличку ему наши дали Меценат, понимаешь. Меценат из Чека. Помешан на том, чтоб спасать работников искусства. Смекаешь, к чему дело идет? Вашего брата спасает: писателей, художников, артистов, ну и так далее. На него донос за доносом, анонимки всякие… Вот его и засунули в нашу тьмутаракань, на это Волковское, такого человека — и начальником на задрипанное Волковское. Жаль его, стоящий человек. Я никакой не артист, на гитаре только хорошо играю, и то он мне всячески помог. Он тебя спасет. Наверняка спасет. Это твоя судьба, Валюха, что Меценат из Чека у нас будет начальником.

— Чем он может мне помочь? — пожала я плечами. Разговору этому я не придала особого значения. Меня могло спасти лишь одно: если бы меня отпустили домой к родным, к маме…

Кузнецов приехал в конце ноября. Он обходил бараки в сопровождении Дантона, командира военизированной охраны (ВОХР) и всяких «придурков» (так обычно в лагере называли зека, занимавших привилегированное положение).

— Здравствуйте, женщины, я ваш новый начальник. Есть просьбы или жалобы?

Кузнецов был высок, плечист, добродушен. Просьб почти не было, Жалоб тем более.

— Гражданин начальник, у меня жалоба.

— Я вас слушаю.

Я посмотрела на командира ВОХРа, невозмутимо стоявшего рядом с начальником, и решилась…

— У меня жалоба…

Кузнецов повернулся, посмотрел на меня и поспешно сказал:

— Не вставайте.

Я всё смотрела на командира — простое русское лицо, нос картошкой, — его все панически боялись, хотя он никому не делал вреда. Говорили, что ему на время войны дана власть расстреливать без суда и следствия. Не знаю, так ли это было, но раз в году он убивал, для острастки, одного из уголовников. Перед этим долго совещались в кабинете у начальника, кого же именно. Это было распоряжение сверху.

— Я вас слушаю, — мягко повторил Кузнецов. Я коротко пояснила, что не могу жить без книг (библиотеки-то на участке нет!), что в посылку из дома мне всегда вкладывают книги и бумагу, так вот командир, который сам вскрывает посылки, бумагу «национализирует» для конторы, а книги забирает себе на курево.

— Как на курево? — ахнул Кузнецов.

— Это я точно знаю, и не далее как вчера мне дали томик моего собственного Верхарна с моими пометками на полях, дали только на часок… так вот, около половины страниц были вырваны.

Кузнецов с презрением взглянул на командира и отчеканил:

— Не позднее как через час принесите ей все книги, которые вы еще не успели искурить.

Командир густо покраснел и пробормотал:

— Так точно, принесу.

Кузнецов пошел было дальше, но вдруг вернулся:

— Кем вы были на воле?

— Я писатель.

— Она пишет стихи на фанерке, — не утерпела Зинка, — бумагу-то у нее отбирают.

Он посмотрел на меня, скользнул взглядом по телогрейке — сплошные заплаты, — по соломенным матам, на которых я лежала, взглянул на фанерку…

— Бумаги для вас достану. — И вышел из барака.

Жалоб больше не было. Вскоре командир принес все мои книги и даже извинился за вырванные листы.

Я взяла в руки, наудачу, одну из книг и заявила, что буду

сейчас гадать по книге. Но сначала я рассказала всем, как я гадала в последний раз. Это было в 1937 году, во время следствия. У следователя на столе лежал полученный им в тот день книжный паек — книг двадцать — двадцать пять. Когда его вызвали к начальнику, я преспокойно вытащила из стопки томик Брюсова и спрятала в карман пальто. В камере все потянулись к книжке, но я заявила, что сначала погадаю. Все тоже пожелали гадать. Открыв наудачу страницу и заложив пальцем строку, я торжественно спросила:

— Что меня ожидает в ближайшие годы?

Пятеро сокамерников с замиранием сердца следили за гаданием.

— «Лишь смена мук».

Я ошалело смотрела на товарищей. Лица у всех вытянулись. Тогда больше никто гадать не захотел.

— А вот теперь, через шесть лет, я снова решила погадать.

— Не надо, Валя. Ну его. Это ведь глупости, а вдруг что-то страшное выпадет? Но я все же загадала.

— Ладно «Лишь смена мук», но, черт побери, когда муки кончатся, что меня ожидает?

Весь барак в ожидании замер, ответ гласил:

— «Счастье, как с неба, валится». Мы так орали «ура», что прибежали от командира ВОХРа узнать, что случилось.

— Валю Мухину ожидает огромное счастье, — пояснила дневальная.

— Какое? Амнистия, что ли?

— Не знаю, но большое. Она сейчас гадала.

— Тьфу! — Солдат ушел.

Окрыленная обещанием, я лежала на мозолистой твердой ладони судьбы и мечтала. О счастье? В чем оно? Прежде всего — это свобода! Любимая работа — писать, и бумаги сколько хочешь. И еще рядом любовь матери и сестры. Ну, а если еще любимый человек — муж, который тебя понимает и любит, — это уже полное счастье! Ну, а если еще… ребенок, то это уж сверхсчастье! Это неописуемое блаженство, только чтоб у твоего ребенка тоже было все это: свобода, любовь, творчество и, конечно, здоровье, чтоб все это оценить… А вообще счастье — понятие относительное. В каком бы отчаянном положении я ни очутилась, находились люди, которые завидовали мне. Сама не знаю, чему именно завидуют! Может, тому, что я всегда оставалась сама собой, а может, моей потрясающей способности находить радость повсюду, куда она, казалось, и не заглядывала.

Недели через полторы вечером приходит ко мне уборщица из конторы Фрося.

— Мухина, если ты обопрешься на меня, сможешь дойти до конторы? Начальнику охота с тобой поговорить. Но если тебе будет трудно, то не ходи, завтра утром он сам зайдет к вам в барак.

Любопытная Зинка сразу подскочила:

— Иди, Валя, я тоже тебе помогу идти. Мы тебя живо доведем.

— Хорошо, иду.

Кузнецов попросил Фросю дать нам чаю. Достал из шкафчика домашнее печенье и кусок пирога с капустой и яйцом, пододвинул ко мне сахар.

— Ешьте, жена пекла.

Я не заставила себя просить и стала есть пирог, который показался мне неописуемо вкусным.

— Наконец-то принял все дела, все хозяйство, — сказал Кузнецов, отпивая чай, — никогда в жизни не представлял, что бывают такие лагеря. Какая-то опера нищих. В каптерке одни лохмотья грязные, обуви никакой. Все пополнения за счет умерших. Кошмар какой-то. Есть хорошее здание клуба, но нет лимитов на клуб. В клубе плетут маты. Черт знает что!.. И все десять дней думал о вас… о вашей судьбе. Вы ешьте, ешьте, я вам положу еще пирога. Вот я пришел к какому выводу, Валентина Михайловна. Если вы не будете работать, то умрете!

Я удивленно взглянула на него.

— Но меня еле довели до конторы, хотя наш восьмой барак рядом. Разве я смогу… теперь… Кузнецов густо покраснел.

— Вы что… разве я об этой лагерной работе. Я говорю о вашей работе — писательской… Без своей работы вы зачахнете.

— Я пишу стихи на фанерке… Бумаги ведь нет. Но я прозаик…

— Да, я слышал. — Он на миг задумался. — У нас, оказывается, есть хорошие артисты… Московские две, ленинградка, из Киева, Харькова… Они, конечно, тоже тоскуют по сцене. Давайте сделаем так. Я знаю о безобразном случае с вами. Надо же, — мерзавцы! — сактировать живого человека!.. Но пока нам это пригодится. Нет лимита на завклубом… так вот, назначаю вас завклубом. Маты будут плести в другом месте. Я уже перевел. Надо поставить пьесу, хорошую, патриотическую драму, чтоб артистам было что играть. Но пьесы нет. Достать ее негде. Вся надежда на вас, Валентина Михайловна. Вы напишете нам хорошую пьесу?

В Долинке была отличная библиотека, в Караганде тем более, но я поняла… Меценат давал мне возможность писать.

— Спасибо, гражданин начальник, — сказала я от всей

души, — спасибо! Я постараюсь написать патриотическую пьесу. Начну писать, как только получу бумагу.

Бумагу мне принес утром замполит, а также ручку, перья, чернила, карандаши. Спросил, в чем я еще нуждаюсь. Я попросила газеты и журналы, какие есть.

Дни, когда я писала свою пьесу, вспоминаются мне как самые счастливые. Утром я просыпалась с ощущением, что сегодня большой праздник и меня ждет что-то очень хорошее.

За окном потрескивает мороз, метет поземка, в бараке гудит раскаленная чугунная печка (кирпичную печку тоже тронуть нельзя — горячая). Дневальная Поленька Чекмарева приносит в котелке кипяток, заваривает его на степных травах, и мы с ней пьем чай из кружек… Иногда Поленька где-то раздобудет морковь или свеклу, испечет их в горячей золе, и мы немножко подкрепимся. Баланда, что дают на завтрак, — это просто мутная вода, и не поймешь, какая именно крупа дает эту муть. Свою пайку хлеба я съедала зараз за обедом.

Пьем чай и беседуем. Поленька — мой друг! Все удивляются несоответствию этой дружбы.

Я выросла в атеистической семье и была неверующей, хотя одно время увлекалась историей религии. Поленька Чекмарева была сектанткой — субботницей. Эта деревенская малообразованная женщина из села Рождественское на Ветлуге знала наизусть Библию!!! По моей просьбе она читала мне главу «Книга Екклесиаста». После чая Поленька убиралась в бараке, а я поуютнее устраивалась на своих матах, делала наброски к пьесе. Два действия, шестеро действующих лиц. Перечитывала свои книги, которые мне вернул командир. Среди них был Велимир Хлебников, и я с большим удовольствием перечитала его поэму «Ночной обыск», и перечитывала еще не раз. Были там Грина «Дорога никуда», «Золотая цепь», «Идиот» Достоевского, томик Есенина. Сестра слала мне мои любимые книги. Больно было видеть вырванные на курево страницы.

Я читала «для заправки» своих любимых авторов и с наслаждением приступала к работе над пьесой.

Первой в барак приходила Зина Фрадкина, которая работала на самом участке — откидывала снег от строений. Она круглый год ходила в черной котиковой шубке, подпоясанной веревкой (словно одеяние средневекового монаха), на ногах какие-то опорки, на голове что-то вроде капюшона, сшитого ею самой.

Зину считали немножко «тронутой» в уме, даже пытались отправить в психолечебницу. Но психиатры нашли ее вполне нормальной.

Начальство, вернее, их жены все время пытались купить у нее

котиковую шубку, но Зинаида наотрез отказалась ее продавать.

— Это единственный подарок мужа, который у меня сохранился, — твердила она.

Зина — дочь секретаря обкома, муж ее был ректором университета. И тот и другой в 1937 году расстреляны. Зине, как жене «изменника Родины», дали восемь лет. Двое старших детишек находились в одном детдоме. Младшего, двухгодовалого, определили в другой детдом.

Зина не имела о них никаких известий, хотя посылала директору детдома множество запросов. Наконец получила ответ. Плача, принесла его мне показать.

— Валя, как это понять?

Я прочитала письмо: «Ваш сын умер. Воспитательница привлекается к ответственности. Больше не пишите. Письма приниматься не будут. Директор».

— Валя, что же это такое?

Я вернула письмо, не смея взглянуть ей в глаза, чувствуя себя в чем-то виноватой. Если бы хоть одну десятую этого чувства испытал тот директор.

Зина приходила замерзшая и, прислонившись к печке спиной, смотрела на меня.

— Люблю смотреть на тебя, когда ты пишешь, — сказала она однажды, — у тебя такое лицо!.. Не то что счастливое, но… Я не знаю, как сказать.

Зина освободилась одновременно со мной 1 июля 1946 года и уехала в свою область искать детей. Уехала все в той же котиковой шубке, лишь веревку выкинула. Не знаю, где она теперь. Жива ли? Помню, когда Зина получала свою пайку хлеба (хлеб нам выводили, смотря по выработке), ложилась на нары, накрывалась с головой своей шубкой и так, укрывшись от посторонних глаз, съедала свой хлеб. Зина была глубоко несчастное существо.

Кузнецов, который знал близко мужа Зины и бывал у них в доме, был потрясен, увидев ее такой.

— Она походила на Нору из «Кукольного дома» Ибсена. Женщина-куколка, и такая была красивая. Муж и дети ее обожали, а она любила свою семью беззаветно. И вот семья разрушена, Илья расстрелян, дети где-то в детдоме. Бедная Зиночка, бедный Илья, а он был настоящий коммунист.

В нашем бараке было сто тридцать человек. Сто тридцать личностей, совершенно не похожих одна на другую. Мне особенно запомнились образы настоящих коммунисток.

Была со мной ленинградка — инженер Елизавета Николаевна… Никак не могу вспомнить ее фамилию. Красивая,

умная, гордая женщина, партийный работник. Секретарь партийной организации крупного ленинградского завода.

У нее было двадцать лет срока. Когда я освобождалась, она еще оставалась. И все же я встретила ее. Случайно. В Москве. В ЦК. Лет десять спустя. Она меня окликнула в вестибюле.

— Вы Мухина? Валя, ты меня не узнаешь?

Я узнала.

— Елизавета Николаевна!!! Мы обнялись. — Она оттащила меня в угол разговаривать, чтобы не мешать проходящим.

— Валя, что они без нас сделали с народом?! Такая беспринципность, такое равнодушие, трусость! Я опять на своем заводе, опять в партбюро, и то, что я вижу, просто повергает меня в крайнее возмущение. Приехала по этому поводу говорить в ЦК.

Я смотрела на нее и думала: «Эта коммунистка, восемнадцать лет ни за что просидевшая в тюрьме и лагерях, столько пережившая, могла позволить себе и просто отдохнуть. А она приезжает в ЦК, обеспокоенная падением нравственной чистоты народа…»

Так из размышлений об окружающих меня людях, из «Екклесиаста», который мне наизусть читала Поленька Чекмарева, из «Ночного обыска» Велимира Хлебникова, метелей, с разгона кидавшихся на барак и чуть не срывавших крышу, толстых пачек газет, раскрывавших страшную горькую панораму войны, когда каждый день, каждую минуту гибли люди, сотни и тысячи людей, отдавая свои жизни за Родину, — из всего этого сплава родилась моя пьеса «Дом у реки».

Когда я переписала ее начисто, я сообщила Кузнецову. Он назначил читку у себя в кабинете на восемь часов вечера.

Я читала и все сильнее ощущала, как потрясен начальник. Когда прочла заключительную фразу, глаза его были полны слез, он, подойдя к окну, пытался незаметно вытереть их, но слезы набежали снова. Тогда, махнув рукой и не стыдясь своих слез, он сказал внятно и горько: «Какие люди сидят!»

Юношей он начинал работать при Дзержинском, и видеть это беззаконие, что творилось при Сталине, ему было мучительно и нестерпимо. Но что он мог сделать? Потребовать ареста и суда над Сталиным? Это было неосуществимо. На другой день Кузнецов повез куда-то мою пьесу, добился разрешения на ее постановку, и… наш клуб ожил. Режиссером была, помню, ленинградская актриса Екатерина Давыдова. Главную роль играла московская актриса (кажется, из Малого театра) Лиза Фадеева. Все шесть ролей исполнялись профессионалами. В день репетиции их отпускали с работы на два часа раньше.

Настал день спектакля. Клуб был набит битком, вольные и

невольные, или, как тогда говорили, — вольняшки и зека.

Меня, как автора пьесы, посадили на первый ряд между начальником и его супругой. Она на вечер принарядилась и только вздохнула, взглянув на мои бесчисленные заплатки — одна над одной и все наполовину оторванные. Днем меня Поленька сводила в баню, где мои вещи, как обычно, прокалили, и теперь вместо духов от драматурга несло не то каленым, не то дезинфекцией.

Декорация была одна на оба действия: дом у парома, из окон вид на реку и лесные дали.

Успех пьесы определился почти сразу. Нельзя забывать, что играли столичные актеры, стосковавшиеся по сцене, но и сама пьеса всем понравилась. Когда опустился занавес и артисты вышли на аплодисменты, все стали кричать: «Автора, автора!»

Так как я не выходила, то кричали все громче, в том числе и артисты. Кузнецов сиял от радости, как будто пьесу написал сам.

— Выходите же на сцену, — тянул он меня. Я отказалась наотрез.

— Но почему?

— Но поймите же, гражданин начальник. Все так возбуждены, и вдруг автор появляется в таком виде. Это как-то не политично.

— Ну, становитесь на скамейку, я вас подниму и буду поддерживать, чтобы вы не упали.

Но я уже раскланивалась со своего места направо и налево.

Овации не утихали.

После спектакля начальник с женой проводили меня до барака.

— Хоть, бы ее одел! — попеняла его жена (назовем ее Ниной Ивановной).

— Как я ее одену? Отберу у тебя платье? В каптерке одни лохмотья, прямо опера нищих какая-то, а не лагерь. Война, конечно. Все идет на фронт.

Утром меня разбудил кто-то из женщин, гаркнув в самое ухо:

— Валька, иди получай гонорар!

В каптерке мне выписали двадцать пять граммов сливочного масла и две огромные селедки — залом.

Одну я дала друзьям, и они посолонились по ломтику. Другую в обед съела зараз с хлебом. Барак взирал на меня с ужасом:

— Обопьешься!!!

Заготовили мне на ночь чуть ли не двадцать банок воды. Я к ней не прикоснулась — не было никакой жажды. А масло я слизнула, как мороженое, без хлеба. Не знаю, что помогло: масло, селедка или овации, как с ехидством уверяла врач Савчук, — но я

начала поправляться не по дням, а по часам.

Дней через десять я уже приступила к своим обязанностям завклубом, а когда началась посевная, ушла в поле работать со своей бригадой.

С утра ко мне зашла уборщица Фрося и сказала, что Кузнецов получил из Москвы свои книги и просил меня помочь разобрать их. Чтоб шла немедля, не заходя в столовую.

— Он тебя ждет дома и, наверное, покормит нашего Веселого скелетика.

— А ну тебя, Фрося.

Я умылась и поспешила к Кузнецову. Семья начальника занимала отдельный дом — четыре просторные комнаты.

Мебель, что называется, казенная. Свою он раздал на хранение друзьям, частью раздарил с условием переслать ему книги и ковры, о которых весьма сожалела жена. Все это вчера пришло малой скоростью. Книг было много, несколько ящиков.

— Поможете мне разобраться? — весело спросил Алексей Федорович. — Но сначала позавтракаем, ждем вас.

Я не заставила себя просить.

У Кузнецова были чудесные ребятишки, озорники ужасные, погодки пяти и шести лет, а младшему всего четыре месяца.

Его только что покормили, и он весело болтал руками и ногами в своей кроватке.

— Тяжело приходится Нине Ивановне, — сказал Кузнецов, — и готовить и убирать, за детьми присмотреть, а у нее больное сердце — ишемия, стенокардия.

— У прежнего начальника была домработница из заключенных, — сказала я.

— Да, по лимиту мне положено иметь домработницу, — согласился Кузнецов, — но жена ни в какую…

— Спасибо! — сказала мне Нина Ивановна. — Когда на Алешу сыпались дождем анонимки и доносы, главным свидетелем была именно домработница. Уж она расписала, как мы принимали у себя писателей и художников и говорили потом: «Какие люди сидят!» Сколько я тогда пережила, боялась, что его арестуют, но, слава богу, ограничились переводом сюда, в богом забытый участок, и отняли квартиру в Москве. Шут с ней. Хорошо хоть, что Алеша рядом.

После завтрака, пока Нина Ивановна готовила обед, мы с Кузнецовым разобрали книги, расставили их на приготовленные пустые стеллажи. Осталось еще два ящика. Я заметно устала.

— Хватит, завтра расставим остальные, — решил Кузнецов. — А сегодня после обеда будем отдыхать и разговаривать… Я попрошу вас рассказать нам…

— Как я попала в лагерь?

— Нет. Я слышал… что это за два дня, после которых вы впервые за шесть лет пали духом и стали доходить?.. Расскажите.

— Алеша! Может, ей неприятно вспоминать, — остановила его жена. Но я согласилась.

— Я же не дохожу больше. Вы спасли мне жизнь. Я непременно расскажу. Ведь он начальник лагеря, ему только полезно знать.

После обеда я хотела помочь вымыть посуду, но Нина Ивановна не дала.

— Я сама, вы отдыхайте. Я провожу ребятишек во двор кататься на санках, сварю кофе…

— Это сделаю я, — решил Кузнецов. И вот мы сидим, устроившись возле стеллажей с книгами, и я им рассказываю о тех двух днях.

День первый

Начался третий год войны. Сюда залпы не доносились, только огромные отсветы народного бедствия и горя.

Наша бригада выехала на сенокос. Стоянка у речки. Спали, как и в бараке, на матах из соломы. Подъем в три часа утра, отбой в десять часов. Уставали очень сильно. Начальником сенокоса был раскормленный парень, в свое время приговоренный к расстрелу. Любимец нашего Дантона. Парня звали Дмитрий, за глаза просто Митькой. Он был красив, силен, но крайне озлоблен, жесток, по-моему, его грызло чувство неполноценности.

Митьку боялись, как какого-нибудь гестаповца. Он ударом кулака мог сшибить быка. Он уже отсидел свои десять лет срока и теперь четыре года пересиживал, как и многие другие. Его однажды вызвали в контору и сказали: «Распишитесь, что вы извещены о том, что освобождены, но остаетесь пока в лагере впредь до особого распоряжения».

Митька расписался.

— А когда оно будет, это особое распоряжение?

— Откуда нам знать?

Вот этот самый Дмитрий утром июльского дня послал бригаду на новое место работы, а меня на старое — копнить оставшиеся несколько валков. Я часа за три закончила работу и уже собиралась идти искать по степи бригаду, когда заявился, верхом на ноне, в развевающейся белой рубашке, Митька.

— Быстро управилась! — удивился он. — А я хотел тебе помочь, ну, садись, отдохнем.

Мы присели возле стога. Он угостил меня бутербродом из черного хлеба с колбасой и сыром. Поколебавшись, я взяла и быстренько съела.

Митькин взгляд буквально меня ожег. Я вскочила и бежать…

Митька повалил меня на сено. Отбивалась я не слишком деликатно, даже укусила его за руку. Мне бы с ним, конечно, не сладить, но Митька отнюдь не собирался насильничать. Он был глубоко оскорблен и сам оттолкнул меня.

— Ты, Валентина, слишком много о себе воображаешь! Как же — писатель, интеллигенция, а я просто деревенский парень неотесанный. У меня не хуже тебя женщины были: и кандидат наук, и врач, и…

Я не дослушала. Поскольку он меня не задерживал, я убежала.

После обеда я вместе с бригадой работала на лугу возле

речки. В руках у меня были вилы, и я со стога перекладывала сено на подъезжающие возы. Было так хорошо! Глубокая синева неба, кучевые облака у горизонта. Река, отражающая небо, береговые ракиты, огромный зеленый луг и одуряющий запах сена.

И вдруг я увидела — скачет Митька… Все эти часы он, видимо, разжигал в себе злобу, а может, он выпил? Дантон угостил его или завкаптеркой, с которой он был близок, — не знаю, но Митька был страшен.

— Ложи вилы! — заорал он, но я держала их наперевес, как оружие. Он выматерился, спрыгнул с лошади, вырвал у меня вилы и далеко отбросил их куда-то.

— Стерва! Я ж тебя растопчу, — пообещал он и снова вскочил на лошадь, отъехал шагов на пятнадцать, глаза его горели, как у волка; разогнав лошадь, он направил ее прямо на меня…

Но лошадь, видимо, была умнее этого парня, она не желала топтать человека, хотя он изо всех сил хлестал ее плетью.

Так и запомнилось. Запах лошадиного пота, ощущение ее тела, ее голова где-то рядом с моей головой. Несколько раз Митька разгонял лошадь, но она так и не наехала на меня. Тогда Митька соскочил с седла и, бросившись на меня с кулаками, стал меня избивать.

Все бросили работу, кто-то охнул, кто-то заплакал, кто-то сказал горестно: «Господи, что делается!»

Что мне было делать? Драться с ним? Я не слажу. Бежать? Он не даст бежать… И я просто с презрением отвернула от него лицо и стояла неподвижно, как статуя. Я не ощущала ни страха, ни боли. Совершенно не помню, куда именно бил. Потом лишь по синякам и ссадинам определила это. На лице синяков не было. «По лицу не осмелился», — говорили потом женщины в бараке.

Митька бил, я стояла бесчувственно. Женщины смотрели в ужасе, но уже пробивалась ко мне с вилами Елизавета Николаевна.

— Прекратить! Ты что, мерзавец, делаешь, кулацкое отродье? Валя, сегодня же зарегистрируй у врача факт избиения и пиши на него заявление, мы все его подпишем. Получишь, негодяй, еще лет пять! И проси сейчас же у нее прощение. У, дурак!

Елизавета Николаевна пошла к подъезжавшему возу, за ней потянулись остальные, оглядываясь назад. Но Митька уже не дрался. Он опомнился.

— Валя, прости меня. У меня нервы не совладали, то есть я не совладал с нервами. Я ведь в камере смертников сидел десять месяцев. Отца и брата расстреляли, а мне, как младшему, заменили на десять лет. Я их на лесоповале отбыл. А ведь мне,

когда это кулацкое восстание случилось, мне тогда всего шестнадцать было. Куда от отца и братьев? И никакой я не кулацкое отродье. Отец отродясь кулаком не был. Середняк он. Если эксплуатировал кого, то нас — своих детей. Я детства не видел…

— А зачем твой отец пошел с кулаками? — спросила я, удивляясь самой себе.

— Так работящий он, работал до измора, а первый лодырь на деревне, которого он за человека не считал, стал председателем сельсовета. Советская власть, значит. Встретил отца на узкой дорожке и говорит ему: «Я не я, если не запрячу тебя в Сибирь». Ну отец и пошел обрез брать… Значит, ты меня простила?

— Нет. Но никаких заявлений подавать не собираюсь. Хватит с тебя. Но только отправь меня на участок сегодня же.

— Ты иди отдохни, отправлю, сегодня же… Мне предлагали на фронт идти добровольцем. Я хотел отказаться. А теперь, пожалуй, пойду. Надоело все, обрыдло здесь. Не могу больше. А тебе спасибо, что жалобы не хочешь писать. Еще раз прости.

Через несколько дней Дмитрий пошел на фронт, в первом сражении его убили. Письмо написал уголовник с нашего участка, который пошел вместе с ним. Писал, что Дмитрий сражался смело, геройски и умер достойно.

Для чего он родился на свет и что он видел в этой жизни? Я была рада, что не писала на него никаких жалоб.

День второй

По моей просьбе Дмитрий отправил меня на участок в тот же вечер. Утром я еле встала — так плохо себя чувствовала. Митькины синяки ярко проявились. Хорошо, хоть лицо этот подонок не тронул.

Мне дали двух быков, арбу и велели привезти из Караджара двадцать мешков овса. Дорога проходила через наш сенокос, и женщины из нашей бригады окружили меня.

— Ох, Валька, как ты плохо выглядишь!

— Да она, поди, всю ночь не спала после такого.

— У врача освидетельствовала?

— Заявление на Митьку написала? Мы ведь подпишемся…

Я отрицательно помотала головой. Мои подружки возмутились.

— Но Митька должен быть наказан!

— Он и так наказан сверх меры… самой жизнью.

— Тебе что, его жалко? Его? — строго осведомилась Елизавета Николаевна.

— Видите… Я неизмеримо богаче его. Как-то совестно… Как если бы ребенок запустил в меня камнем. Пусть больно ударил, но не станешь же его призывать к ответу.

— Что ж, духовное богатство — самое ценное и единственное, что нельзя отнять, — сказала Елизавета Николаевна, уходя.

В Караджаре мне нагрузили на телегу двадцать мешков зерна. Положили очень неудобно, не оставив мне места для сиденья. Пришлось вскарабкаться наверх. Я поехала. Быки шли лениво. Я их особенно не погоняла. Куда мне было торопиться — на участок?

Дорога шла степью. Пахло травами, стрекотали кузнечики, звенели птицы, и необычно глубокой была синева неба. А потом дорога круто спустилась вниз и пересекла глубокий овраг. Умная лошадь всегда под гору замедляет ход, быки, наоборот, побежали. Один из мешков упал, за ним упала я, прямо под первое колесо, и телега с девятнадцатью мешками переехала меня, сломав два ребра.

Если телега летит под уклон, сколько секунд пройдет от первого колеса до второго — одна, две, а может, доли секунды? Ощущение было такое, словно от первого до второго колеса прошло минут десять…

Я столько всего успела передумать… Неужели конец всему, эта проклятая телега раздавит меня? И я больше не увижу маму и

сестру? Я так и не стану настоящим писателем. Я больше не глотну свободы… И что стоит вся моя начитанность, если я не знаю такой простой вещи: может человек выжить, если его переедет телега с девятнадцатью мешками зерна? И уже никогда я не увижу его… Значит, я еще надеялась, вопреки всякой логике.

Я тебя никогда не увижу.

Я тебя никогда не забуду.

Это пелось уже потом, много лет спустя.

А тогда я потеряла сознание. Пришла в себя в бараке. Я лежала на носилках в широком проходе между нарами. Меня окружали незнакомые сочувствующие лица, ждали врача, как раз в Караджаре была врач с нашего Волковского Надежда Антоновна Савчук… Мой злой гений. Никто не сделал мне столько зла, как этот врач — сама заключенная.

Она не пожелала положить меня в больницу: чего ради — все кости целы. А ведь два ребра были сломаны. До сих пор в рентгеновском кабинете меня спрашивают: «Были на фронте»?

Савчук сказала, что вечером меня отправит обратно на Волковское… и отправила. Все думали с какой-либо оказией — на машине, на худой конец, на телеге. Я пошевелиться не могла от боли, словно полураздавленный щенок.

Вечером за мной пришел конвой. Они вели этап. Шестьсот человек рецидивистов. Меля присоединили к ним. Напрасно я доказывала, что не дойду. «Врач заверила, что дойдете…» Время было военное: три шага в сторону — могли застрелить.

Я никогда не забуду эту ужасную ночь. Беспросветно темная, только всполохи далеких молний прорезали тяжелые тучи. Ничего не видно, конвой нервничал… Урки устали, проголодались, хотели скорее дойти, поесть и лечь спать. А я еле тащилась. Боль была отчаянной, непереносимой, каждый шаг стоил невероятного напряжения, я еле удерживалась от стонов.

Я отставала, меня подгоняли прикладом, но я тащилась все медленнее и медленнее. Меня поставили впереди — урки роптали, матерились. Исчезло ощущение яви. Мне казалось, я вижу страшный сон, кошмар терзал меня. На подходе к Волковскому я потеряла сознание. Беднягам уркам в довершение всего пришлось тащить меня на руках до барака.

С тех пор я больше не встала… Уже и ребра срослись (не совсем, видно, правильно), а я… Жизненные силы вдруг иссякли. Я стала доходить, и, если бы не Кузнецов, лежать бы мне в карагандинской земле в братской могиле.

Спасибо Кузнецову за жизнь! Спасибо таким людям, как Кузнецов, что я не озлобилась, не пришла в отчаяние. Кузнецов был на Волковском чуть больше года, но как же он много сделал

за эти четырнадцать месяцев.

По-моему, самое главное, чего он сумел добиться, — это уничтожение «подконвойки» — двух позорных бараков, огороженных в три ряда колючей проволокой, где рычали и выли овчарки, а из окон выглядывали сумрачные озлобленные лица рецидивистов. Теперь они свободно ходили по всему лагерю и на работу, заходили в клуб. Они перестали драться между собой, как пауки в банке. Он не смог нас приодеть, по-прежнему мы выглядели, как персонажи картин Гойи, но как он поднял духовную жизнь лагерников! Каждый вечер в клубе либо читали лекцию — он привлек критиков, историков, ученых, — либо выступали наши артисты или самодеятельность. Немного лучше стало питание — причем за счет собственных запасов, ведь у нас же были огороды и бахчи. Вечерами теперь рассказывала я больше в клубе, а не в своем бараке, и самые страстные слушатели мои были подконвойные.

Известие об уходе Кузнецова свалилось на всех нас в апреле сорок четвертого. В этот вечер в клубе ничего не было, но все собрались там и сидели, как на похоронах, многие даже плакали. «Не расходитесь, я пойду позову начальника к нам сюда», — предложила я и пошла в контору. Он был дома. Зашла к ним домой. Нина Ивановна, веселая, оживленная, собирала вещи, Кузнецов что-то писал за письменным столом.

Я извинилась и сказала, что в клубе ждут его и как все приуныли.

— Молодец, что зашла, — заметил Кузнецов. Он быстро надел пиджак, плащ, и мы пошли.

— Тебе до освобождения остался год… — сказал задумчиво начальник, впервые назвав меня на «ты».

— 4 октября 1945 года меня должны освободить, если окончится война.

— Не позже чем через год мы победим, — заверил Кузнецов.

В клубе все очень обрадовались ему, окружили, он сел рядом со мной и подозвал Зину.

— Воробьева, у меня есть для тебя радость, но сначала спой нам ту песенку, «Что ты смотришь на меня в упор». Уж очень хорошо у тебя получается. А Валерий Косолапый, он здесь? Пусть аккомпанирует.

Оба вышли на середину клуба. У них это уж очень хорошо получалось. Не знаю, чья это песня? То ли это уголовный фольклор, то ли кто из настоящих поэтов приложил руку. Зина с темпераментом, с таким артистизмом исполнила ее.

Привожу эту песню целиком.

Что ты смотришь на меня в упор?
Я твоих не испугалась глаз.
Коль тебе наскучил разговор,
Оборви его возьми да брось.
А ну же, брось, ну, брось, жалеть не стану я!
Таких, как ты, всегда достану.
Или рано, или поздно
Все равно ко мне придешь.
Кто тебя по переулкам ждал?
И душа вся изнывала в страхе.
Кто тебя по кабакам спасал
От удара острого ножа?
А ну же, брось, ну, брось, жалеть не стану я!
Таких, как ты, всегда достану,
Или рано, или поздно
Все равно ко мне придешь.
Ну, прошу тебя я, выйди на крыльцо.
Как у нас с тобой водилось раньше.
На, возьми назад свое кольцо,
А не хочешь, под забором брось.
А ну же, брось, ну, брось, жалеть не стану я!
Таких, как ты, всегда достану.
Или рано, или поздно
Все равно ко мне придешь.

В этот раз Зина исполняла как никогда… Несколько минут мы молчали.

— Смотришь на меня, но не обо мне песня, — бормотал Косолапый. — Клоун ему кличка.

— Затрещину хочешь? — возмутилась Зинка. — Князь — его кличка. — А настоящее имя? — спросил Кузнецов.

— По первому паспорту Федор Скоморохов.

— Тебе письмо от Скоморохова Федора, — сказал Кузнецов, протянув ей конверт.

— Разыскал-таки! — охнул Косолапый.

— Спасибо, спасибо вам, гражданин начальник, это вы помогли! — воскликнула Зина и, схватив конверт, ушла в уголок читать.

— Как же мы останемся без вас? — всплакнул кто-то горько.

— Я же не так далеко уезжаю, всего за десять километров. Буду начальником Караджарского отделения Карлага. У меня будет больше возможности помочь каждому из вас… И я буду сюда регулярно наезжать.

— Валюшу Мухину не забудьте оживить, — улыбнулась Елизавета Николаевна.

— О нет, уже распорядился — завтра с утра займутся этим. Дело, кстати, скорее не из легких…

Громкий плач Зины прервал Кузнецова. Что произошло с Зиной?

Она упала на пол и рыдала так безутешно, словно прочитала себе смертный приговор.

— Воробьева, что с тобой? — бросился к ней Кузнецов. — Думал, письмо это обрадует тебя.

— Он… Он… Ох я невезучая! Лучше бы я умерла!.. Мы окружили Зину, потрясенные взрывом такого бурного горя.

Единственный человек, которого она любила всю жизнь, из-за которого стала уголовницей, писал, что любит ее, верен ей, считает себя виновником ее судьбы…

Короче — он накрепко «завязал», вот уже третий год живет на берегу Волги в Саратове, у своей матери-пенсионерки. Работает шофером в речном порту. Иногда совершает дальние рейсы. В свободное время много читает, собирает библиотеку к той, которая есть у его матери, и мечтает о встрече с Зиной. Знает, что ей осталось сидеть два года, будет ждать ее, как свою жену.

Много рассказывал о ней своей матери. Та ждет ее, как свою дочь, ждет ее возвращения. Одновременно высылает ей посылку с продуктами и книгами.

— Что же я наделала?! — кричала исступленно Зинка. — Я сама исковеркала жизнь. Что делать? Кто поверит, что я ненавижу фашистов, как и все советские люди, и только от великой дурости выкинула тот флаг над крышей конторы. И еще потому, что больше не могла находиться в шалмане в «подконвойке»… Больше не могла никак, ни-как!.. О господи, зачем я родилась на свет? Посмотрите, что он мне пишет, мой Федя… и его мама пишет… Такое ласковое письмецо. Просит прощения за все зло, что ее сын причинил мне. Как я ему напишу, что мне осталось еще не два года, а целых десять?

— Не плачь, Воробьева, — сказал начальник. — Я сам все объясню Федору Ивановичу… Кстати, я его знаю, он перед освобождением работал у меня на строительстве канала Волга — Москва. Я сам буду хлопотать за тебя, может, что и выйдет… Я как раз ссылался на случай с тобой, когда хлопотал об отмене этой «подконвойки». Может, что и выйдет, не теряй надежды.

На другой день меня «возвратили к жизни». А через неделю Кузнецов переехал в Караджар.

Труден был этот год — вернее, полтора — после Кузнецова.

Первое, что сделал новый начальник Решетняк, — закрыл

клуб (нет лимита). Агитбригада была распущена. Я всю зиму работала на снегозадержании.

Но Решетняк не тема этого рассказа.

6 октября я должна была освобождаться… Освобождали так: накануне предупреждали, что утром с вещами едем в Караджар, там каждый расписывается, что прочел о своем освобождении, а также о том, что остается в лагере впредь до особого распоряжения. К вечеру возвращались на участок, но не в свои барак, где тебя ждали друзья, а в чужой, где жили «освобожденные».

Работали по-прежнему в своей бригаде.

Накануне я всех предупредила, что не вернусь, что надо закончить рассказ очередного романа, но все замахали руками и заверили меня, что к вечеру вернусь как миленькая. Роман я им рассказала, а прощаться они категорически отказались.

Утром в Караджаре всё произошло как у всех. Я расписалась о своем освобождении и о том, что остаюсь в лагере до особого распоряжения. На мой вопрос, когда же будет это распоряжение, мне ответили: «Откуда нам знать…» Мне предложили погулять до вечера, потом меня, сказали, отправят обратно на Волковское.

Кузнецов был дома на обеде, и я стала прохаживаться возле конторы, пока не увидела его. Пошла навстречу. Он удивленно остановился.

— Да неужели это Мухина! Почему так похорошела?

— Здравствуйте, товарищ начальник, — сказала я, улыбнувшись.

— Освободилась?

— Если это можно назвать освобождением.

Мы вошли к нему в кабинет.

Я рассказала ему, что просто не в состоянии возвращаться на Волковское.

— Вот оно какое дело, — сочувственно заметил Кузнецов, — куда же я вас дену? В Караджаре нет работы для вас… Подождите минутку, я подумаю. — Он действительно думал минуту-две, не больше. — Хотите на СХОС?

— СХОС?

— Сельскохозяйственная опытная станция, это полтора километра от Долинки, где находится наше управление. На СХОСе нужны грамотные рабочие, знающие латинский шрифт. Думаю, вам там понравится.

Я от всей души поблагодарила его… Поговорили о том о сем, я расспросила его о жене и детях.

Меня устроили ночевать к вольным, а на другой день я с несколькими женщинами отправилась в Долинку. На СХОСе мне

очень понравилось — поля, лес, но я чувствовала себя несколько одинокой…

Это рассказ о начальнике лагеря Кузнецове, который спас мне жизнь.

«Меценат из Чека» — прозвали его уголовники.

Поэтому я опускаю свою дружбу, свою любовь. Скажу только, что мой муж Валериан Георгиевич Петринский, с которым я прожила в любви и согласии 34 года (до его смерти от инсульта в 1978 году), был тот самый Петринский, с которым я познакомилась в Карлаге на участке Волковском. Я написала ему со СХОСа, он ответил, завязалась переписка. Как-то Валериан обратился к Кузнецову, показал ему мое письмо… Тот читать не стал, но… однажды угрюмым мартовским днем, возвращаясь в обеденный перерыв из столовой, я увидела идущего навстречу мне Петринского. Мы бросились друг к другу, обнялись и впервые поцеловались открыто при всех.

Теперь я имела преданного друга, человека, который полюбил меня беззаветно, так же глубоко, как я когда-то Сергея Неклонского.

Освободили нас 1 июня 1946 года, вручили трехмесячные паспорта, и мы поехали навстречу новым испытаниям, которых тоже хватило на девять лет.

Кузнецова я видела еще только в мае 1946 года… У нас был выходной день, с утра сходили в баню, немного отдохнули и после обеда мы с Валерианом решили сходить в Долинку. Это небольшой городок — километра полтора от СХОСа. Там был хороший книжный магазин, и мы решили попытать счастья, может, найдем что-нибудь интересное. Мы шли, держась за руки, по лесной дороге. Пахло травами, листьями, сыроватой землей, в лесу куковала кукушка, долго и самозабвенно.

— Как хорошо, — сказала я.

— Ты меня любишь? — в сотый раз спросил меня Валериан.

— Очень! Почти как маму и сестренку. А их я люблю больше всего на свете.

— Сказала бы просто — люблю.

— Ну, люблю.

— У тебя была настоящая любовь, и тогда ты действительно любила.

— Валя! Тогда смена мук только предстояла, грозила, ждала. А сейчас я… может, несколько устала от жизни?

— Не верю. Ты полна жизни…

Мы услышали за нами цокот лошадиных копыт и оглянулись.

Нас догоняла двуколка, запряженная одной лошадью. Двуколка остановилась, с нее спрыгнул улыбающийся Кузнецов.

— Здравствуйте, дорогие, как она жизнь? — Он обнял нас обоих сразу. — Я ведь вас догонял, сказали, что вы направились в Долинку. Давайте сразу поговорим, потом вас подвезу.

— Спасибо. Я ведь очень по вас соскучилась.

— Усаживайтесь, ребята, я только лошадь освобожу — пусть попасется на зеленой травке.

Мы сели на теплую насыпь возле арыка. Сейчас здесь уже был холодок. Тихо шелестела береза. В арыке журчала чистая вода.

Дальше за березками начиналась СХОС, оттуда тянуло отцветающими яблонями.

— Что-нибудь пишешь в свободное время? — серьезно поинтересовался Кузнецов, усаживаясь возле нас.

— Пишу.

— Что именно?

— Написала поэму… «Человек без рук». Посылала в журнал «Новый мир». Ответили, что поэма их потрясла, но печатать ее невозможно, слишком тяжелая, мрачная. Что я, видимо, много пережила, но надо стараться видеть светлое вокруг.

— Ты отсюда слала?

— Нет, из Саратова. Послала сестре, она перепечатала и по моей просьбе отослала в «Новый мир». Написала еще рассказ — уже прозой. Отослала в «Октябрь», отсюда, сама. Пишут, что смотрят на меня как на будущего коллегу, но пока печатать никак не могут. Слишком много юмора. Что юмор — это, конечно, хорошо, но юмор надо дозировать, а то так можно отшутиться от всего на свете.

— Гм! — Кузнецов хмыкнул и пристально посмотрел на меня. — Валентина Михайловна, прочтите мне эту поэму… Помните ее наизусть?

— Нет.

— Но у вас есть копия?

— В бараке.

— У меня есть здесь, в кармане пиджака. — И Валериан достал из кармана копию поэмы «Человек без рук».

— Третий экземпляр, там плохо видно, — пробормотала я.

— Первый… уже перепечатал сам на конторской машинке. — И Валериан передал Кузнецову поэму. Он прочел ее раза два, если не три.

— Ох, Валентина Михайловна, что так мрачно? У меня мороз по коже пошел.

Словно крылья отрезали птице — Как полетишь?

Бьется, бескрылая, о мостовую. Ночь… Тишь…

Прочел он по памяти и вдруг сказал:

— Валентина Михайловна, прости, но я хочу тебя спросить.

Если можешь, ответь. Сможешь ли ты простить все это, пережитое?

Я ответила не задумываясь:

— Смогу. Но при одном условии.

— Каком?

— Валя, оставь нас на минутку одних. Валериан кивнул понимающе и, легко поднявшись, пошел к кузнецовской лошади.

— При каком условии?

— Чтоб публично, всенародно, сказали правду о Сталине. Простите меня, но ведь я только правду хочу, больше ничего. И не будет у меня на душе никакой обиды.

Кузнецов покраснел и махнул рукой.

— Эх, Валентина Михайловна, боюсь я, что правду о Сталине скажут не раньше как лет через сто!

— При нашей жизни скажут, — твердо сказала я.

Такова была наша последняя встреча. Я дожила и до XX съезда партии, и до XXII, и до возрождения демократии при Горбачеве.

Не знаю, жив ли Кузнецов?

Если жив, откликнитесь, мой бывший начальник. Где вы?

Обреченная бригада

Бригада эта должна была погибнуть. Так все считали и именно так ее окрестили при самом создании — «бригада смертников».

Сейчас объясню, в чем тут дело. На Волковском так уж повелось, что почти каждый бригадир, когда его упрекали в нерадивости, отставании, невыполнении плана и тому подобном, в оправдание уверял, что его бригада просто замечательная, но вот несколько человек, ленивых, безответственных, тянут бригаду назад, именно из-за этих четверых-шести человек бригада всегда плетется позади.

Начальнику лагеря Решетняку наконец надоело слушать про этих злосчастных лодырей, из-за которых страдает вся бригада, и он приказал всем бригадирам составить к следующей разнарядке списочек лентяев, и он освободит от них бригадира.

На другой день почти все бригадиры предоставили такие списки. В них были внесены лентяи, больные, старые и просто неугодные бригадиру люди. В числе последних попала в списки и я. Бригадир меня ненавидела лютой ненавистью. Могу объяснить почему.

Летом нас будили затемно часа в три, и мы очень страдали от недосыпания.

Как только мы приходили на работу (мыли водой с мылом капусту — огромное поле, на которое нападали букашки), бригадирша Ираида Иосифовна томно жаловалась на переутомление и сожалела, что не может поспать часок-другой на травке.

— Поспите, Ираида Иосифовна, если начальник появится на дороге, я вас разбужу, — говорила ей обычно подхалимка Полина.

— Ну как ляжешь?.. За мной сразу Мухина ляжет.

— Да нет, она будет работать. Спите спокойно, — уверяла подхалимка.

— Мухина, не ляжешь? — стонущим голосом вопрошала бригадир.

— Как только вы уснете, я сразу свалюсь спать.

— Ну вот видите.

Все же сонливость брала свое, и бригадир засыпала на краю поля. Я устраивалась возле нее и тоже сладко засыпала. Чудесное зрелище для умевшего появляться неожиданно Решетняка.

Гнев его всегда обрушивался на Ираиду.

— Как тебе не совестно?! Еще бригадир — пример подаешь.

Мухина хоть байки в бараке рассказывает до полуночи, бодрость в женщинах поддерживает! А ты?

А вообще все считали, что Решетняк меня терпеть не мог.

Меня всякое начальство недолюбливало, может, потому, что у меня, как говорится, начисто отсутствовала «шишка почтения».

Перед тем как угодить в обреченную бригаду, я как раз получила трое суток карцера. Трое суток с выводом на работу за то… что я захватила с поля две картофелины. «Позаимствовала», по выражению наших уголовников. Картошку эту мы весной сажали, летом окучивали, а теперь рыли лопатами и намеревались испечь в горячей золе. Этот поступок не вызвал у меня ни малейших угрызений совести.

Возле нашего восьмого барака как раз находился общелагерный котел кипятка, под которым всегда была чудесная горячая зола. Там я и хотела испечь две картофелины. Но увы, мне не повезло. На вахте, где нас принимали с работы, случился обыск («шмон» по-лагерному), и я попалась.

Ну что ж, заглянув после ужина в барак, я пожелала женщинам не скучать и отправилась в карцер.

Из нашего барака в карцере никого не было, все чужие. Карцер ничем не отличался от обычного барака, разве что окон не было. Но так как карцер обычно давали с выводом на работу, то мы приходили туда только ночевать. Большинство этого различия не замечали.

Какая разница с чудовищным карцером в ярославской тюрьме.

Видимо, начальство считало, что суть наказания должна сводиться к моральному воздействию…

Вошла я в карцер, поздоровалась и, вздохнув, села на край нар. Кто меня разглядывал, кто сидел задумавшись. Всего там было человек двадцать.

Внезапно одна из женщин воскликнула:

— Товарищи, да вы посмотрите, кто с нами! Это же Валя Мухина.

Все уставились на меня.

— Валя… Вы будете рассказывать? — осведомилась довольно симпатичная женщина, как оказалось по фамилии Поздняк, из пятого барака.

— Буду, отчего же…

В ответ было мощное «ура». Они так орали, что в конторе переполошились (как мне потом рассказала мой друг, старая большевичка Маруся Шатревич). Из своего кабинета выскочил побледневший Решетняк и с воплем: «Что такое? Почему «ура»?! Что там происходит?» — бросился искать начальника

военизированной охраны, который уже бежал ему навстречу. Когда Решетняк вернулся, Маруся спросила его, что же случилось?

Начальник немного сконфужено махнул рукой:

— Да в карцер привели Мухину, она обещала им рассказывать свои байки, ну они на радостях и горланили.

Я им рассказывала своего любимого Диккенса часов до одиннадцати или двенадцати, остановилась на самом интересном месте, обещав завтра закончить роман, и улеглась на нары спать.

На другой день все прибежали в карцер несколько раньше обычного и послали за мной самую младшую, Тоню Томилину. Я наскоро поужинала и поспешила в карцер. Оказалось, они весь день на работе думали о том, что будет дальше с героями.

— А у меня к тебе просьба, — сказала Поздняк. — У меня тоже три дня карцера, но сегодня последний день. И я очень прошу, закончи роман сегодня.

Поднялся галдеж. Все запротестовали.

— Из-за тебя одной она будет комкать роман. — Они стали возмущаться и долго не могли успокоиться.

— Товарищи, не будем терять время, летний вечер так короток… На чем я остановилась?

Я решила не заканчивать на самом интересном месте, но я рассказывала моего любимого Диккенса, а этот писатель на любом месте интересен. Я еле уложила их спать, пообещав завтра закончить роман.

— А я уже последний день здесь, — вздохнула Поздняк.

На следующий, третий вечер моего пребывания в карцере только я приступила к рассказу, как мы услышали за дверью ее голос. Дежурный солдат объяснял ей, что у нее лишь трое суток карцера.

— Иди, Поздняк, отдыхай себе, ты их уже отсидела.

— Я еще только один вечер, вам ведь все равно, — убеждала его Поздняк и все-таки проскользнула мимо ошеломленного стража. И тут же сердито воскликнула:

— Ты уж начала. Много рассказала?

— Я только начала…

— Так начни снова.

Пришлось мне начать снова. Поздняк жадно слушала, как ребенок сказку. Она, ветеринарный фельдшер, была осуждена на десять лет за вредительство — будто бы травила скот. Падеж был изрядный. То, что она с плачем провожала каждую издыхающую от недокорма коровенку, как свидетельствовали колхозники, во внимание не принималось. Сказали: притворялась! Никаких вскрытий, подтверждающих наличие в организме павших

животных яда, тоже, разумеется, никто не делал — и так все ясно. Судили заочно — тройка, которую никто никогда не видел.

При обходе командиром военизированной охраны постов наш охранник при карцере рассказал о странном поведении Поздняк. Командир отправился к начальнику. Решетняк так разносил главного бухгалтера, спрашивая ее, не захотела ли она на караганник? (Рассказывала об этом мне тоже потом Маруся Шатревич.) Командир, почесывая затылок, доложил ему, что Поздняк либо повредилась умом, либо что-то тут не так.

— Мы же дали карцер в наказание? Так? Дали ей трое суток с выводом на работу, а она непутем лезет добровольно отсиживать четвертые сутки… Как понять?

— А тут и понимать нечего, — отрезал Решетняк, — там же Мухина… Она им байки рассказывает. Из-за этих ее баек они согласны месяц в карцере ночевать, не то что три дня. Понятно?

— А-а, понятно… — Командир было собрался уходить из конторы, но вдруг вернулся: — А как же быть с Поздняк?

— Гони ее к чертовой матери из карцера. Скажи: дали тебе трое суток, и хватит, нечего лезть на четвертые. Понятно?

Когда Поздняк изгоняли из карцера, она так рыдала, что я поклялась завтра же прийти к ним в пятый барак в досказать роман.

Случай этот вызвал много смеха в лагере.

На другой день (это был последний день в бригаде Ираиды Иосифовны) меня отрядили подвозить обед трактористам на дальнем поле. Я предупредила, что запрягать не умею. Мне запрягли лошадку. Я нормально доехала на телеге от конюшни до столовой, где поварихи аккуратно установили на телегу первое, второе и даже третье (ведь трактористы перевыполняли план), и я тронулась в путь. Лошадь шла хорошо, но на площади перед конторой, прямо под окнами кабинета Решетняка, она вдруг начала, словно цирковая лошадь, ходить по кругу. Это было просто непорядочно с ее стороны. Если бы хоть в поле, а то под окнами Решетняка, и без того не жалующего меня. Он говорил обо мне, что я по своему характеру «клоун в юбке».

Хотя у меня, бедной, тогда даже юбки не было, а были единственные штаны в сплошных заплатках, наполовину оторванных, и они при ходьбе колыхались на ветру. И я нарочно не смешила, но со мной отчего-то случались частенько комичные истории.

И вот теперь эта коварная лошадь. Я грозила ей кнутом — никакого впечатления, я зашла вперед и опять погрозила кнутом, но лошадь была достаточно умна, чтобы понять — бить животное я никогда в жизни не буду.

Чуть не плача, я дергала за вожжи, но лошадь продолжала ходить по кругу. Я и не подозревала, что одна вожжа отцепилась.

По краям площади собрались заключенные, они, посмеиваясь от души, любовались этим зрелищем. Наконец я устала, села на землю и пригорюнилась. Вышел Решетняк.

— Ну?.. Что случилось? — спросил он.

— Лошадь оказалась из цирка, — пояснила я, вставая.

Решетняк поправил что-то в сбруе на морде лошади, и она пошла нормально.

— Ужин не вози, пошлем другого! — крикнул он мне вдогонку.

А на другой день я уже была с утра в обреченной бригаде.

Мы сидели на холодном ветру второй час возле конторы. Скучные, немного растерянные. Все давно ушли на работу, а мы всё ждали, когда нам дадут бригадира.

Кандидаты в бригадиры выходили от Решетняка заплаканные, но с твердо сжатыми губами: все, как один, наотрез отказались брать обреченную бригаду и укоряли начальника в несправедливости:

— Меня-то за что в эту бригаду?

Мы сидели, как выставленные у позорного столба. Проходящие мимо вздыхали и качали головами.

— Идите все к такой-то матери! — завопила Шурка Федорова, потомственная воровка по кличке «Я сама».

— Ты чего материшься, Шурка? — поинтересовался шедший мимо тракторист-уголовник. — С вами Мухина? Скучать не будете, но животы потуже перевязать ремешком придется. Если будешь доходить, Шурка, возьму тебя прицепщицей… весной.

— Пошел ты… — Шурка загнула такое, что вышедший из конторы Решетняк поперхнулся, а тракторист поспешил дальше.

— Что мне с вами делать?! — вслух размышлял Решетняк. — Никто не желает быть вашим бригадиром…

— А вы из-за границы выпишите, — хрипло захохотала старая воровка Фрося Наконечная. Кличку ее все забыли, так как последние два десятка лет она сама уже не воровала, а лишь принимала краденое и помогала его сбывать.

— Что у нас, своего бригадира не найдется, что ли, гражданин начальник? — удивилась Шурка.

— Это кто же?

— А хоть Мухина.

Выбора у начальника не было.

Так я стала бригадиром.

В лагере было много толков по этому поводу. Решили единогласно: скучать бригаде не придется, но без хлеба

насидятся…

Зима в тот год была ранняя, снегу выпало мало, но северо-восточный ветер был холоден и остр, словно тысячи иголок кололи лицо… А мы были плохо одеты, а главное — голодны.

Хлеб! Его давали по выработке. Бригадир писал отчет о работе бригады за три дня. А нормы были очень большие, почти ни одна бригада не выполняла нормы. Хлеб нам выводили так: за выполнение нормы — шестьсот граммов. Перевыполнение — и пайка хлеба повышалась. Самая большая — кило двести граммов. Но практически столько никто не получал. Лишь трактористы во время посевной — они давали по две нормы. Большинство, как правило, получали пятьсот — четыреста граммов, отказчики от работы — триста (без приварка — обеда, только кружка воды). Работающий, самое малое, получал… триста пятьдесят граммов.

Вот этого-то и боялась моя обреченная бригада. Ведь хлеб был основой питания.

Кроме меня, все пали духом и даже не болтали между собой — ни до чего им было.

Первые три дня каждый из нас получал хлеб по расчету старой бригады. А потом они будут есть хлеб, который выпишу я.

Первый день в поле мы работали у капустного бурта. Овощехранилища для капусты не было, просто капусту аккуратно укладывали осенью в бурты и укрывали. Нам надо было раздеть капустный бурт и погрузить капусту на грузовые машины.

Капуста шла на фронт.

Огромная угрюмая равнина, заключенная в кольцо каменных сопок. Свистит пронизывающий ледяной ветер, дрожь, казалось, проникает до самых костей. Простиранные до дыр телогрейки не греют. И мучит голод.

Четвертый год войны. Моя мама и сестра на воле в далеком Саратове ели на обед картофельную шелуху…

И тридцать женщин, вверенных мне, не верящих в меня (так уж им внушили: клоун в юбке, рассказчик, с ней скучно не будет, но не накормит).

А прежний бригадир кормила? По четыреста — четыреста пятьдесят граммов в сутки. Редко кому норма — шестьсот граммов — пайка хлеба (шестисотка стоила тогда в войну у нас восемьсот рублей).

Женщины посинели, некоторые просто пошатывались от слабости и ветра. Два шофера, откормленные, мордастые парни, с насмешкой разглядывали мою бригаду, позевывая в теплой кабине… Внезапно гнев захлестнул меня. Я подошла и решительно застучала в стекло кабины:

— А ну, выходи и помогай! Не совестно сидеть развалившись,

когда больные женщины работают?

— С чего это мы будем помогать зека? — лениво удивился один из парней.

— Хорошо, сейчас не помогайте, но грузить на свою машину будете сами, как миленькие.

— Еще чего… — пробурчали они.

Но тут раздался крик Маруси Брачковской:

— Валя! Валя! Она… У нее… Господи!..

У старой воровки шла горлом кровь (оказывается, у нее был туберкулез).

Я бросилась к ней, и мы с Шурой уложили ее на снятые капустные листы, рогожу, старые мешки, которые сняли с бурта.

Я нашла чистого снежка (снега было едва на сантиметр!), и мы дали ей проглотить.

— Товарищи, давайте быстрее подбросим этим двум лодырям капусты, пусть скорее погрузят на машину и отвезут Фросю на участок в медпункт. Шура, отвезешь ее в кабине.

— Нет места… — начал было шофер.

— Пусть твой напарник пересядет в кузов. Быстрее! Если она умрет, напишу на вас рапорт. Живо угодите на фронт.

Они больше не спорили. Послушно погрузили капусту и отвезли обеих женщин на участок.

Все три дня мы работали на этих капустных буртах. Приезжали уже другие шоферы и охотно помогали грузить. Фросю отвезли в больницу, где она умерла в первую же ночь. Нас в бригаде осталось со мной ровно тридцать.

Я пошла в контору к нарядчице Наде и спросила у нее, нет ли напечатанных норм? Может, на машинке?

— Книги есть, — Надя протянула мне довольно толстую книгу нормативов.

Когда я нашла в оглавлении «Капустные бурты» в стала просматривать, то была крайне поражена: там было полно работ, о которых мы даже не догадывались. Например: подметать землю веником и… отбрасывать снег. О, да здравствует снег! Кто его учтет при проверке?

Я всех, в том числе и себя, поставила на непременное отгребание снега. Пуды снега, тонны, целые горы снега пришлось нам отбросить с капустного бурта.

«Интересно, сколько за это полагается каждому из нас хлеба?» — подумала я, отправляясь к нарядчице.

Когда Надя прочла мой отчет, она вся покрылась пятнами.

— Ну, Мухина… За такой отчет тебе не то что карцер, тебе срок дадут. Снега было на сантиметр. Иду к Решетняку — на подпись понесу, — и она торжествующе удалилась.

«Неужели я слишком много снега написала?» — размышляла я.

Маруся Шатревич тревожно поглядывала на меня поверх своих папок.

Из кабинета начальника вернулась обескураженная Надя и, не глядя на меня, сказала с удивлением: «Подписал!»

— Сколько же хлеба получит моя бригада?

— А то ты не знаешь?

— Конечно нет, откуда?

— По… кило двести, — буркнула она, отворачиваясь.

— Я решила, что она насмехается, и ушла…

Шатревич потом сказала, что и она услышала это, но решила, что ей просто послышалось.

Настал четвертый день моего бригадирства. Первый, когда бригада получит выведенное мной количество хлеба.

В обеденный перерыв я взяла двухручную корзину, попросила у Маруси Брачковской чистую простынку, и мы с ней отправились в каптерку за хлебом для бригады.

Тот, кто будет читать эти строки, особенно молодежь, не поймет, что значила пайка хлеба в годы войны. Пайка хлеба, да еще в лагере. Только в осажденном Ленинграде было неизмеримо хуже с хлебом. Кормили нас плохо и мало, работали мы много и тяжело, недосыпали, переутомлялись.

Основой жизни была пайка хлеба. Большинство из нас съедали ее зараз в обед, когда получали…

Мне хотелось написать поэму о пайке хлеба, но я отгоняла от себя эту мысль. Вместо того я, атеистка, написала на своей фанерке утреннюю молитву. Она начиналась так: «Благослови меня, господи, на день наступающий. Пошли мне терпения и мужества. Умения стоять за человека, если он сам не в состоянии постоять за себя, и умения прощать людей, их недостатки, ведь и я не без них. Но одному человеку я никогда не прощу, ибо вся кровь, все страдания людские — это его вина. Сделай, господи, чтоб его публично осудили, чтоб народ понял это. Я хочу, чтоб его повесили всенародно на Красной площади. Будь он проклят…»

Так, едва Сталин врывался в мои мысли, молитва превращалась в проклятие. Терпения и кротости мне явно не хватало…

Заведующая каптеркой с удивлением взглянула на меня и, пробормотав что-то вроде «Ну, Мухина, ты даешь», стала выкладывать нам пайки на бригаду, все до одной по кило двести граммов.

Я тщательно укрыла хлеб чистой простынкой, и мы понесли

корзину в барак. Еле донесли. Там ждали члены обреченной бригады, поникшие и какие-то смирившиеся.

— Валя, раздавай скорее наши полпайки, да обедать пойдем, — вздохнул кто-то из женщин, — животы подвело от голода.

— Сейчас, потерпите минуты три…

Я подождала, пока окончит раздавать хлеб Ираида Иосифовна в основном по четыреста — четыреста пятьдесят граммов, две пятисотки… Бригаде попалась тяжелая работа — огромные нормы. Но они все с интересом ждали, как обреченная бригада будет получать свои трехсотки.

Громко и четко я выкликала:

— Брачковская — кило двести.

— Зина Фрадкина — кило двести.

— Шура Федорова — кило двести.

— Томашевская — кило двести.

И так все тридцать человек. Ибо я тоже убирала горы снега — мне тоже было кило двести.

В бараке воцарилось зловещее молчание.

— Интересно, это каким образом? — вскричала Ираида Иосифовна. — Как это ты ухитрилась? — обратилась она ко мне.

— А наш бригадир не обязан вам отчитываться, — громко сказала Шура. — Начальник подписал — у него и спрашивайте.

— И спросим.

— Спросим, что за безобразие.

— Мы по-честному выводим, а она…

Скандал разразился вечером на разнарядке. Бригадиры высказывали свое возмущение поодиночке и разом, кричали возмущенно, совершенно справедливо. Ведь если говорить честно, мой отчет был сплошной липой.

Решетняк всех выслушал, потом стукнул кулаком по столу и цыкнул, чтоб они умолкли.

— Теперь послушайте, что я скажу, — начал Решетняк. — Учитесь у Мухиной выводить хлеб. Вы думаете, мне приятно видеть, как ежедневно по утрам отправляют в могилы трупы доходяг, умерших от недоедания…

Я с таким удовольствием смотрела, с каким аппетитом, с какой радостью едят свои пайки женщины из моей бригады, так за них радовалась, что даже на какой-то час забыла про собственный голод. Вспомнила, конечно, и побежала в кухню за обедом. Столовой на Волковском не было.

В тот же день случилось подлинное чудо — с Шурой Федоровой по кличке «Я сама».

Она принципиально мало и плохо работала. Когда бригадир

или начальник пытались ее урезонить, она говорила с гордостью:

— Вы что, не знаете, кто я? Я потомственный вор в законе. Понятно? Мне не пристало вообще работать. Не понятно? Какие же бестолковые! У меня и родители воры, и деды, и прадеды. Мой прапрадед еще при Петре Великом был вором, пока Петр не увлек его строительством кораблей. Но когда Петр умер, он опять стал воровать. И даже залез во дворец к дуре императрице. Так мне рассказывал отец. Он был непревзойденный ворюга, и самого широкого профиля: и по кассам, и по квартирам, и так далее. А я ему с пяти лет помогала, так как могла пролезть в самую маленькую форточку… А когда мне хотели помочь, я говорила: «Я сама». Отсюда и кличка. Папаню кто-то прирезал. Не уголовка, нет, в уголовке такими делами не занимаются, а завистники из нашего брата. Мамаша начала с горя пить и скончалась от белой горячки — жаль ее…

Столь подробно о своей родословной Шура сообщала бригадиру либо начальнику при первом столкновении. В дальнейшем она прибегала к самому изысканному мату, от которого уши вяли.

Со мною дело было иначе.

Во-первых, я наизусть знала ее родословную, во-вторых, она сама (не забудьте кличку «Я сама») избрала меня бригадиром и порекомендовала Решетняку.

Первый же раз, когда перекур затянулся, Шура Федорова, к удивлению всех, прервала его:

— Вот что, бабы, не забывайте, Валя не такой человек, чтоб гнать нас ишачить, хоть бы до самой ночи сидели. Это не Ираида Иосифовна. Но учтите… она будет напрягать голову, соображая, как бы вывести нам побольше хлеба. А Решетняк долго терпеть не станет, если толку от нашей бригады ни хрена не будет, он пошлет Валю к чертям и найдет нам какую-нибудь стерву вроде Ираиды. А ну, марш, хватит болтовни!

Все послушно поднялись и принялись за работу.

Так Шура Федорова соблюдала мои бригадирские интересы. Как-то так само собой получилось, что Шура Федорова стала деятельной моей помощницей, и, когда мне приходилось отлучаться по делам бригады в контору, прачечную или куда-либо еще, я оставляла Шуру вместо себя.

Между тем кило двести хлеба, с аппетитом съедаемые, делали свое дело: все в бригаде поздоровели, похорошели и как-то незаметно для самих себя стали гораздо лучше работать.

Первым заметил это Решетняк и похвалил меня.

Было это на разнарядке, и остальные бригадиры насупились, так как увидели в этом укор себе.

Выводить хлеб они так и не научились.

Начиная с нового года мы работали на снегозадержании и порядком страдали — уставали и мерзли. Уж очень плохо были одеты. Стали часто простужаться, болеть. В конце концов Решетняк пожалел нас и поставил плести маты.

Плели их в клубе, в том самом зале, где когда-то при Меценате из Чека шла моя пьеса с таким успехом. В клубе было тепло. Угля нам не жалели, и печь была горячая, как огонь. Маты плели из соломы, веревки тоже свивались из соломы. У некоторых веревки получались тоньше и крепче. Я поставила их только вить веревки — дело пошло быстрее.

Никто об этом не говорил, но все в бригаде понимали, что ни на какой снег мне на этой работе не сослаться, а к большим пайкам хлеба уже привыкли, да и силенок прибавилось — работали мы не плохо.

Я тоже плела маты. Работа была сидячая, и, как только ее освоили, сразу стали просить меня что-либо рассказывать. Что я и стала делать.

Поздняк, узнав об этом, пошла к Решетняку проситься в нашу бригаду. Кстати, все уже давно забыли, что называли ее бригадой обреченных и даже бригадой смертников. Теперь называли — веселая бригада, так как мы часто смеялись. И царевна-несмеяна у нас была — Зина Фрадкина, она вообще никогда не смеялась. Но хлеб ела уже открыто, не прячась под свое котиковое манто.

Решетняк разрешил, чтобы Поздняк перешла в нашу бригаду. Она была счастливой, будто шла на освобождение.

Мы ее встретили хорошо, ласково.

Вслед за Татьяной Григорьевной Поздняк пришла девушка из нового этапа болгарка Дита, лет восемнадцати — необычайно прелестная и обаятельная. Вся бригада любовалась ею.

— Теперь у меня снова тридцать женщин, — улыбнулась я, умолчав, что одна умерла, а другая лежит в больнице при смерти. Это украинка Оксана Полищук, колхозница из-под Полтавы. Она прибыла в лагерь первой категории здоровья, в нашу бригаду попала, уже числясь третьей. Все у нас, и я в том числе, были третьей категории здоровья, четвертую категорию работать не заставляли. Умерла Оксана от водянки, и всё просила пить. Я навещала ее в караджарской больнице, и запомнилось, как она умоляла дать ей хоть глоток воды.

Женщины наперебой хвалились своим бригадиром.

— Она нас всех детками называет, — сообщила Дите Маруся Брачковская. — Она нам как мать. — (Маруся была младше меня на два года.)

Дита тоже стала ярой слушательницей. Норму по матам она

перевыполняла, так как ловко плела жгуты…

Шура Федорова тоже работала теперь хорошо; когда я хотела помочь ей, кричала: «Я сама!»

Неожиданно производство матов прекратили.

Решетняк грустно и откровенно рассказал нам причину.

Хотя мы и заготовили сена с избытком… этот избыток нас и подвел. По решению Карагандинского обкома сено было вывезено в колхозы и совхозы области, где начался падеж скота. Лагерное начальство вынуждено было у себя сено заменить соломой. У нас было изрядное животноводство. На Волковском участке — коровы, телята и овцы. Нам не дали доплести даже начатые маты, мы их разорили, а солому погрузили на телеги и увезли.

День, начатый так неудачно, нам сделали выходным и банным. Мы вымылись до обеда, а потом собрались в полупустом бараке — остальные четыре бригады ушли на работу.

Поздняк ушла в соседний мужской барак побеседовать с бригадиром.

Бригадир Тарас Егорович. Когда мы работали в поле на снегозадержании, их бригада неподалеку рубила тал на берегу озера. Как я говорила, вокруг Волковского была цепь озер — по руслу пересохшей реки — и росло много ивняка, тала — чудесного материала для плетения корзин.

Но на Волковском корзин не плели, тал отправляли куда-то по соседству. Вот Поздняк и пошла посоветоваться, нельзя ли тал здесь оставлять. Обо всем рассказала мне. Я поняла ее с полуслова и отправилась к Решетняку.

— Начальник, — начала я, — а зачем мы отправляем тал на другой участок? Разве мы сами не могли бы плести корзины?

— Там хорошо плетут, а у нас никто не умеет, — пояснил начальник.

— Поздняк говорит, что еще на воле отлично плела корзины… Она могла бы и нас научить.

— Поздняк? — удивился начальник. Он на мгновение задумался. — Ладно, твоя бригада будет перебирать картофель на складе, а Поздняк пусть сплетет несколько корзин. Норма — две корзины в день. Пусть посидит дня два-три. Дай ей кого-нибудь в помощь. Если дело пойдет у вас… было бы хорошо.

— Спасибо. Пусть нам доставят тал в клуб.

— Распоряжусь, ладно.

Образцы у Поздняк оказались великолепны. Мы все пришли в восторг и выразили желание плести корзины.

Поздняк восхищалась талом. Гибок, красивых оттенков: зеленые, коричневые, красные и белые, если ободрать.

Учились с воодушевлением. На улице мела поземка, свистел

леденящий ветер — но это только вдохновляло нас. За полторы-две недели мы научились отлично плести корзины.

Решетняк был нами доволен, нам вволю подбрасывала угля, и в клубе было уютно, тепло, даже жарко.

Я тоже с наслаждением плела корзинки, не подозревая, что когда-нибудь это ремесло буквально спасет меня от голодной смерти.

Только двум женщинам не понравилось плести корзины, и они перешли в бригаду транспортников, там было весьма нелегко, но выгодно. На участке Волковском не имелось ни одной грузовой (ни тем более легковой) машины, и обозы лошадей выходили в Караганду каждую неделю. Они что-то везли туда и что-то привозили из города.

Корзины наши где-то ценились, и Решетняк расширил производство. В нашу бригаду пришло человек пятнадцать мужчин. Они быстро, кроме троих, научились плести корзины, и… к нашей великой обиде, корзины у них выходили почему-то гораздо лучше, особенно у Валериана Георгиевича Петринского, бывшего преподавателя русского языка и литературы из Кировограда.

Мало того что он красиво сочетал цветные полосы, он, единственный среди нас, умел делать на корзинах узоры.

В феврале вся бригада переживала горе Маруси Брачковской. Я уже говорила о том, что она сидела как член семьи изменника родины, восемь лет. Мужу дали десять лет с правом переписки, и Маруся переписывалась с мужем. Их единственная дочка, семилетняя Майя, сначала была направлена органами в детский дом Подмосковья. Но Маруся и ее муж выхлопотали, чтоб ребенка отдали родителям Маруси, семье киевского доктора — невропатолога Брачковского. Просьба их была удовлетворена, и дедушка с бабушкой забрали ее к себе в Киев. За весь 1937 год это была единственная радость Маруси.

Отец и мать писали ей аккуратно, но после оккупации Украины переписка вдруг прекратилась. Маруся очень переживала, она опасалась, что отец не успел по каким-либо причинам эвакуироваться и остался при немцах. Как фашисты расправлялись с евреями, мы знали из газет и очень волновались.

Как только наши взяли Киев, Маруся сразу послала родителям письмо, но оно пришло обратно; адресат выбыл. Тогда Маруся начала писать подряд всем родным и знакомым, чьи адреса помнила или могла установить. Ответа не было. Тогда она написала в театр, где отец был лечащим врачом, и ответ был получен, хотя театр только что возвратился из эвакуации. Писала артистка… не помню ее имени. Она по возможности осторожно,

подготавливая постепенно, сообщила Марусе, что старый доктор не мог эвакуироваться, так как про него просто забыли при эвакуации.

Обещали дать машину и не дали. Пока старый доктор бегал в поисках транспорта, в Киев вошли фашисты. Так его семья осталась при немцах. Вся надежда была на то, что все же врач и… беспартийный. Увы… он был еврей. Настал день, когда вся семья Брачковского шла в одном строю с тысячами других евреев, направляемых к Бабьему яру. С ними была дочка Маруси одиннадцатилетняя Майя…

Горе Маруси было беспредельным. Мы, все женщины, поплакали вместе с ней.

— Маруся, если хочешь, иди в барак и выплакайся там, пока все на работе… Может, будет легче…

— Как я мужу напишу об этом, бедняге? Ну, спасибо, я пойду…

Брачковская ушла. Мы работали сумрачно и молча, подавленные горем.

Ночью Маруся не спала. Она сидела у печки на лавке, ее била дрожь. Я поняла, что тоже не засну, и, когда все уснули, поднялась и села с ней рядом. Мы молчали… Я думала о том, что, если бы Сталин не организовал эти массовые аресты ни в чем не повинных людей, эта девочка, дочка Маруси, была бы жива. И еще думала о том, как ей страшно было идти в этот жуткий Бабий яр и там умирать. И о старом враче я думала. Вспоминал ли он перед смертью дочку и зятя, заключенных в лагерь.

А потом стала думать о Гитлере и Сталине… Как похожи эти люди друг на друга… словно близнецы. Да, духовно они именно словно близнецы. Но одного породил фашизм, другого… что породило другого? Как могло это произойти? Как народ, совершивший Великую Октябрьскую революцию, допустил развитие, укрепление и разнузданный террор духовного близнеца вождя фашистов?

Можно ли презирать народ за то, что он допустил все эти беззакония?

О боже, помоги мне разобраться!

Зачем умер Ленин Владимир Ильич? Милый, зачем ты умер?

И вдруг я похолодела…

А что, если бы Ленин не умер, а его бы оттеснили в сторону… Быть может, оклеветали, как потом Бухарина, или даже убили, как Кирова в Ленинграде.

От всех этих мыслей стало так скверно. Поцеловав Марусю, я вышла на воздух.

Лагерь спал, где-то выли собаки. Ни одного огонька в окнах.

Мела поземка, скрывая небо: звезды и тучи. Было холодно, темно и страшно. Где-то, уже не на нашей земле, еще шла война и гибли наши солдаты. Может, так же один из них вышел и стоит возле землянки, раздумывая и вопрошая. Может, это Сережа, если ев на фронте.

А может, кто-то потерявший в этот день в бою друга. Я стояла долго-долго, пока не закоченела, тогда вернулась.

— Ты ложись, Валя, — шепнула мне Маруся. — Обо мне не беспокойся, не у меня одной горе, как-нибудь переживу… Спи, завтра работать… Я тоже лягу.

7 февраля 1945 года был день моего рождения — мне исполнилось тридцать шесть лет. Девятый год я была в заключении.

Я решила никому не говорить о дне рождения: моим друзьям будет горько, что нечего им мне подарить. Но Шатревич сказала в бригаде, и они таки устроили мне праздник. К бригаде присоединились все те, кто любил слушать мои рассказы, и в общем получился пир на весь барак.

Уголовники вскрыли одну из своих заначек и принесли нам тайком после поверки полмешка картошки, которую женщины так вкусно приготовили. Чая не достали, но так ароматно заварили степные травы. Шура Федорова раздобыла мне четыре майки (две белых, две синих), из которых шведка Ула обещала сшить две блузки и сшила потом две матроски. Насчет матросок ее надоумил подарок «вора в законе» Косолапого, который очень любил меня слушать и теперь принес мне новенькую тельняшку.

Я нерешительно посмотрела на него, подумав, не ограбил ли он какого морячка?

— Верно, это от морячка, но честно при всех выиграл в карты! Не веришь, Валюха?

Тельняшка мне очень понравилась.

Решетняк выписал к весне белые брюки (тогда даже телогрейки стали белые — в стране не было краски). Это была особая весна. Весна победы. Мы верили и ждали, что, когда кончится война, нас выпустят. Куда там!

9 мая был митинг на площади перед конторой. Но радовались как-то тихо, подавленно, думая о близких, вспоминая потери.

Несколько человек вызвали в Караджар на освобождение.

Трагикомедия, а не освобождение. Им дали расписаться в том, что они теперь освободились, но пока остаются в лагере вплоть до особого распоряжения.

— А когда оно будет?

— А это в Москве только знают, а может, и там не знают.

Вечером они вернулись обратно, но в другой барак. Работали в прежних бригадах.

Ула получила посылки и добрые письма от своих двух русских падчериц. Отца их расстреляли, и они в память его любили и чтили его избранницу, на которой отец женился, когда умерла их мать. А юная шведка полюбила, вышла замуж за русского и стала хорошей матерью его двум дочкам.

Я очень привязалась к Уле. Мы часто с ней беседовали — она мне много рассказывала о своей родине — Швеции.

В мае врач Валериан Викентьевич обнаружил на участке несколько случаев цинги. А ведь лагерным производством были огороды. Он крупно поговорил с Решетняком, и тот, разозлившись, пригрозил ему, что пошлет его на общие работы.

Повариха вспомнила, что несколько лет назад, еще при Бабичеве, когда я работала по борьбе с малярийными комарами, то всегда приносила на кухню щавель на зеленые щи.

— Это же витамины! — заключила повариха. — Пусть собирает щавель.

— Она же бригадир, как оказалось, неплохой, — нерешительно возразил Решетняк, — может, кого другого послать?

Как ни странно, ни с кем другим ничего не вышло. Они приносили так мало.

Решили, что бригаду от меня примет Шура Федорова, поскольку она привыкла заменять бригадира в его отсутствие (не скажу, что бригада была от этого в особом восторге), и я была направлена собирать щавель.

Зато на кухне были довольны: я приносила полный мешок щавеля, а не какую-нибудь горстку. Секрет был прост, хотя, кроме шеф-повара, о нем никто не знал. Дело в том, что я рвала как крохотные листушки обычного щавеля, так и огромные сочные листья конского щавеля. Остальные сборщики были твердо убеждены в его несъедобности и даже ядовитости и обходили его. Я же отлично знала, что он вполне съедобен, богат витаминами, вполне годится на зеленые щи и что в деревнях им лечат печень, желудочные болезни и даже нервы. В 1933 году во время голода мы в семье попеременно ели щи то из лебеды, то из конского щавеля, и, кроме пользы, ничего не было.

На работу я выходила к девяти часам. К этому времени солнце подсушивало травы от росы, и я, полюбовавшись пейзажем, принималась за сбор щавеля. Набив мешок поплотнее, я немного отдыхала, читала стихи, пела. А когда солнце начинало палить нещадно, находила тень от кустов ивы и укладывалась спать. Если был ветер — он разгонял комаров. Но обычно я

выискивала места наименее комариные — на пригорках.

Выспавшись, я снова повторяла свою концертную программу. А примерно часа в четыре отправлялась в обратный путь с тяжелым мешком за плечами.

Восхищенная повариха разбирала мешок щавеля и кормила меня досыта этими самыми зелеными щами, ведь я не обедала. Но пшенной каши она давала, как и всем, — половничек с ложечкой постного масла. Хлеба я получала шестьсот граммов. На ужин были зеленые щи, на завтрак тоже.

В общем, я была, пожалуй, довольна. Так продолжалось, пока ко мне не пришла делегация от уголовников и не предупредила:

— Валентина, тебе просят передать, что ежели ты не прекратишь кормить весь лагерь травой, словно коров силосом, то мы тебя вздуем… поколотим.

— Понятно?

— Понятно. Но ведь цинга появилась.

— Пусть дают витамины и хоть рыбий жир, а кормят как людей, а не животных, понятно?

— Да.

— Так что передать?

— Больше не пойду. А Решетняку вы сами скажете? Или мне самой объяснить, в чем дело?

Делегаты почесали затылок.

— Нехай наш бригадир ему скажет. Незачем на бабу всё сваливать.

— Спасибо.

— И тебе спасибо.

Бригадир уголовников ничего Решетняку не сказал — побоялся. Я предупредила только повариху.

— Давно ждала, что они взбунтуются, — задумчиво произнесла она и, оглядевшись (мы были одни на кухне), добавила шепотом: — Мне два пуда пшена недодали. Ты, Валенька, помалкивай, а то он пошлет меня на общие работы. Я это лишь тебе одной сказала.

— Что он… для своей семьи, что ли… голодные?

— Куда там. Пшено загнал на базаре в Караганде. Наутро, узнав, что я самовольно прекратила сбор щавеля и вернулась в бригаду, Решетняк рассердился и приказал мне идти собирать злосчастный щавель. Когда я отказалась наотрез, он буквально взбесился:

— Бригадиром остается Федорова!

— Пусть остается, я не возражаю.

— Она не возражает. Благодарю вас. Чтоб щавель был, иначе весь лагерь голодным останется. Варить первое не из чего.

— Можно сварить кулеш из пшена… или хоть суп.

— Тебя не спросили! — заорал он, багровея. — Марш собирать щавель!

— Не могу, всем очертело есть супы из одной травы.

— Если не пойдешь, запишем отказ от работы. Все же я догнала свою бригаду и работала вместе с ними… Мы сажали капусту. Работа не из легких, ноги все время были в воде. То ли пустили орошение, то ли такой был сильный дождь — он шел весь день, — но для посадки капусты это было хорошо. Часам к четырем у меня начался сильнейший озноб, через силу я работала, буквально щелкая зубами. К вечеру озноб прекратился, у меня поднялась температура. Шведка пощупала мой лоб.

— Да от нее пышет, как от раскаленной печки! — вскричала она.

Женщины окружили меня.

— Валюха, похоже, ты подхватила малярию! — решила Шура. — Иди-ка ты в барак и ложись.

— Нельзя… Тогда начальник наверняка припишет ей прогул, — заметила Маруся Брачковская.

Наш спор решил главный агроном — тоже заключенный, который занимал, однако, привилегированное положение, имел отдельный коттедж и домработницу. Он подъехал на двуколке, посмотрел, как идут дела с посадкой капусты, и согласился отвезти меня к врачу.

Помог мне сесть в его двуколку.

— Что с вами? — осведомился он.

— Был ужасный озноб, а теперь температура. Врач Валериан Викентьевич, который еще при Кузнецове сменил взяточницу Надежду Антоновну (она теперь на другом участке была на общих работах), принял меня обеспокоено.

— Ой, какой нехороший вид, смерим-ка температуру. Температура оказалась… 41,3 градуса. Доктор даже присвистнул.

— Говорите, был ужасный озноб? Похоже, малярия… Надо в больницу, дело будет затяжное. Положил бы сейчас — но нет места. Утром кое-кого выпишу, будет свободная койка. А сейчас… До своего барака дойдете?

— Дойду.

Он позвал медсестру Катю и попросил отвести меня в барак. Так как я почти падала, Кате помогал кто-то из проходящих мимо. Меня уложили на нары, и я уснула.

А в одиннадцатом часу ночи меня разбудил кто-то из военизированной охраны и сказал, чтоб я собиралась с вещами в «подконвойку» — таково распоряжение Решетняка. «Эка разозлился».

— Но я утром ложусь в больницу.

— А туда врачи тоже заходят. Если надо, и оттуда положат в больницу. Собирайтесь. Я стала собираться.

— У нее же температура за сорок! — возмутилась Шура Федорова.

Женщины столпились вокруг. В бараке все разволновались.

— За что же в «подконвойку?»

— Больных забирают, безобразие!

Солдат был невозмутим. Женщины проводили меня до «подконвойки», помогли донести мои вещи (в основном несколько книг и неисписанная бумага).

Мне было очень плохо, поташнивало, болела голова, хотелось плакать. Но я крепилась.

Однако в «подконвойке» меня ждал сюрприз — такой, что я просто-напросто обалдела. Меня встретили так, как если бы к ним пожаловала… я даже не знаю кто… ну сама Мери Пикфорд.

О том, какой прием оказала мне «подконвойка», долго обсуждали в лагере. Дело в том, что «подконвойка» люто ненавидела 58-ю статью, то есть сидящих по этой статье. Где-то я говорила об этом, их умело восстанавливали против нас. Прежде — до Ягоды и Ежова — в лагерях было неизмеримо легче и свободнее; и когда уголовники спрашивали, почему это вдруг стали такие нечеловеческие условия, им отвечали: иначе теперь нельзя, виной 58-я статья, враги народа, из-за них приходится туго закручивать гайки, ну а заодно и вы пострадали.

Это они понять могли. Но вот в Карлаге… Почему враги народа ходят расконвоированные. На работу ходят без конвоя, одни, а их, уголовников, содержат в тесном бараке за тремя рядами колючей проволоки, вокруг их барака бегают, рычат и воют овчарки.

Где же справедливость?

Этого они ни понять, ни принять не могли. Им не приходило в голову, что начальство просто боится их. (Мы же не залезем к ним ночью и не вырежем начальника и его семью.) В результате «подконвойники» люто ненавидели нас.

Этим пользовалось начальство, когда само не смело расправиться с заключенными. Они сажали их в «подконвойку» на несколько дней, и там их, как правило, забивали: иногда выносили труп, иногда отвозили человека в больницу с отбитой печенью или легкими.

Бригадир «подконвойки», узнав, что меня сегодня приведут к ним, поспешил уведомить своих об этом. И те стали бурно готовиться… Но не так, как предполагал Решетияк. В их бараке жили постоянно три женщины с 58-й статьей. Эти сумели

поладить с уголовниками. Одна — актриса Лиза Фадеева, другая — историк, третья была очень способной цирковой акробаткой, потом укротителем тигров. Способности укротителя у Жанны без сомнения были.

Так вот, эти воровки решили уложить меня на нарах, так сказать, со своими — между Жанной и Лизой.

Когда я вошла, меня встретили сияющие глаза, улыбающиеся лица, протянутые ко мне руки. Они спешили одна перед другой успокоить меня, уверить, что мне здесь будет очень хорошо, что они все меня знают и любят и рады мне. «Ложись, Валя, отдыхай, мы знаем, что ты приболела. Ничего, поправишься, мы будем за тобой ухаживать, как доктор велит».

Они делали вид, как будто забыли, что я рассказчик, просто жалели меня как человека. Но одна, самая юная, совсем девчонка, не выдержала:

— Валя, ты будешь потом нам рассказывать? Кто-то дал ей подзатыльник, и она спряталась. Сердце мое дрогнуло от жалости к ним.

— Дорогие мои, товарищи мои, я непременно буду вам рассказывать каждый свободный час самые интересные романы, пока всем не надоест слушать.

— Спасибо! — хором ответили они и отвели меня на мое место на верхних нарах.

— Все они словно королеву встречали, — удивленно сказала историк, — а нас враждебно, особенно меня. Если бы не защита Жанны… Она как-то сумела их быстренько «укротить».

— А я сама справилась, — скромно заметила Лиза, — представьте себе: они хотели меня избить, а я встала перед ними и громко прочла…

— Да, что бы вы думали?.. — простонала историк. — Монолог Гамлета. — Дошло?

— Да. Шекспир же гений.

У Анны Ефимовны имелся градусник. Она смерила мне температуру и уложила меня спать.

Женщины спали тихо. А я долго не могла уснуть. За стенами выли овчарки и лязгали цепями. Мне надо было выйти из барака на воздух, но здесь не выходили, как в тюрьме. В углу стояла параша… Утром Валериан Викентьевич забрал меня в больницу.

Маруся Шатревич, навестившая меня в больнице, рассказала, что Решетняка очень рассердило, что меня поместили в больницу.

— Пусть хоть в больницу, хоть за больницу, — ворчал он, — все время не продержат там, сгною ее «подконвойкой».

Заболела я серьезно. Валериан Викентьевич удивлялся, как это я одна ухитрилась подцепить такую тяжелую форму

тропической малярии.

Приступы начинались каждое утро со страшнейшего мучительного озноба, затем быстро поднималась температура и держалась двадцать два часа. Почти все это время температура была одна и та же, 41,3 градуса. И это каждый день. И только два часа отдыха.

В нашей больнице было всего две палаты. Клали самых тяжелых больных, таким образом, оказалось, что лежали одни мужчины и лишь одна женщина — я. Мне отвели кровать у окна, в углу, отгородили занавесками из простыней. Я их, впрочем, никогда не задергивала. Окно всегда раскрыто — на окнах сетки. Здоровье у меня было и без того подорвано, а малярия, что называется, доконала. Потом мне женщины рассказывали, как Валериан Викентьевич зашел к нам в барак, присел на нары и подавленно сказал:

— Умирает наша Мухина.

Женщины, особенно из нашей бригады, навещали меня, приносили полевые цветы, иногда что-нибудь вкусненькое поесть — из посылки или поварихи присылали, — но я ничего не могла взять в рот.

Приходили письма от мамы и сестры — они писали дважды в неделю. Никто в лагере не получал так часто писем от своих родных. По-прежнему писал мне и двоюродный брат Яша. Сначала с фронта, потом из госпиталя, где он пролежал ровно год, отказавшись наотрез ампутировать ноги. К слову говоря, он не только сохранил их, но впоследствии даже не хромал.

Письма всегда приносил доктор.

Утром — только закончился у меня приступ озноба и начинала подниматься температура — вошел расстроенный чем-то Валериан Викентьевич и подошел к моему соседу по кровати. У того был рак гортани, и его терзали сильнейшие муки, так как обезболивающих лекарств в лагере давали крайне мало (да еще во время войны).

— Андрей Павлович, дорогой, вы временно (думаю, неделю-другую, не больше) пока полежите в бараке. Обход буду начинать с вас, как будут сделаны все процедуры. Потом… а потом… опять положим в больницу.

— Для чего же тогда выписывать?.. — прохрипел Андрей Павлович. Доктор вздохнул.

— Иван Денисович… Как вы знаете, его поймали… Судили… ну, снова дали еще десять лет, сейчас он умирает. Хочу положить его рядом с Мухиной, она скрасит его агонию…

Андрея Павловича увели в барак.

Я лежала подавленная. Бедный Иван Денисович. Он был мои

земляк, волжанин, из Саратова. Хороший столяр, натура творческая, он работам как художник, как скульптор, а в лагере его в лучшем случае использовали как плотника. До Карлага он побывал на севере, на лесоповале. Здесь был на общих работах… Строили не очень-то много.

Срок у него был десять лет. И вот, когда у него оставалось полгода до освобождения, Иван Денисович подошел ко мне с просьбой написать заявление Сталину, чтоб его освободили хоть на два месяца раньше срока, так как с ним что-то стряслось и он не может больше сидеть.

— Я, конечно, и сам грамотный, но я официально напишу, а надо так, чтоб Сталин понял, что я больше действительно не могу.

Иван Денисович подошел ко мне на улице. Я оглянулась вокруг. И спросила:

— Ты верующий?

— Нет, а что?

— Ну, ты знаешь, как христиане представляют себе ад?

— Знаю, мамаша меня в детстве всё пугала.

— Так вот, если бы грешник обратился к черту, поджаривающему его на сковородке, и попросил выпустить его из ада, скорее этот бы черт отпустил грешника, нежели Сталин страдающего человека.

— Ты так думаешь?

— Я абсолютно убеждена.

— Что же делать, я ведь правда не могу больше, прошу ведь только на два месяца всего раньше… Он внезапно охрип.

— Вот что, Иван Денисович, я напишу тебе сама письмо, как только смогу убедительнее. А ты перепишешь его и пошлешь кому хочешь… И если так веришь в него, то пошли Сталину. Договорились?

— Спасибо, милая, спасибо, землячка дорогая…

Я написала ему письмо, как можно убедительнее и понятнее. Прочла женщинам, они всплакнули, заверили меня, что не могут ему не сбросить. Я указывала в письме, что он честно, без единого отказа работал почти десять лет, а сейчас случилось такое душевное состояние я он просит сбросить всего-то два месяца.

Ивану Денисовичу очень понравилось, как я написала, он старательно переписал и отослал в Верховный суд и Сталину.

Отовсюду пришел краткий категорический отказ. Странно, но мне было стыдно, как будто это я была виновата в том, что в Москве не захотели понять Ивана Денисовича. Я не могла смотреть ему в глаза. Плотник понял меня.

— Ты не расстраивайся, Валя. От тебя зависело бы… — Он

горестно махнул рукой. — Я пойду. Ты меня прости.

За что он просил прощения?

Иван Денисович ушел. А ночью совершил побег.

Хватились его не сразу. Утром на разводе кто-то сказал, что он приболел и, кажется, собирался идти к врачу, на работу не пойдет. После обеда в бараке уже догадались о побеге, но начальству о своих догадках не доложили.

Побег обнаружили лишь в десять вечера на поверке. За это время он дошел до какого-то казахского села. Видимо, он был знаком с кем-то раньше и его укрыли у себя. Везде были крайне нужны рабочие руки: молодые казахи-то все были на фронте.

Видимо, Иван Денисович через несколько недель ощутил себя и в этом казахском селении, как в новом заключении. Заявил, что уходит. И ушел. Он добрался пешком до Кустаная, там его и арестовали. Привезли в Караганду, судили и дали еще десять лет.

И вот теперь Иван Денисович в больнице. Пришла Катя и, плача, рассказала, что он уже умирает…

— Понимаете, он ничем не болел. Никакой болезни. Просто он не может больше быть в заключении и потому умирает.

Иван Денисович был без сознания, но перед смертью пришел в себя, узнал меня и Катю и мужчин, находящихся в палате. Он что-то сказал, но голос был так тих, что мы ничего не расслышали.

В четыре часа дня началась агония, и я присела на его постель, хотя от высокой температуры у меня темнело в глазах.

Я собрала силы, взяла земляка за руку.

— Мы здесь, милый Иван Денисович, вы не один. Мы с вами. Мы все вас любим!

Постепенно его дыхание становилось все тише и реже.

В палате царило суровое молчание, порой кто-то горестно вздыхал, вытирая слезы.

Иван Денисович как-то содрогнулся и вытянулся.

— Отмучился, — горько сказала Катя и закрыла ему глаза.

И тогда он произнес тихо, но до ужаса отчетливо: «Нет еще…» Умер он часа через два. Еще через час его вынесли в морг. Бедный Иван Денисович. Он действительно больше не мог…

А на другой день пришел мой черед. Днем, как всегда, температура держалась 41,3 градуса. Валериан Викентьевич принес мне письмо из дома от мамы и сестры, довольный, что может меня порадовать. Хотела прочесть письмо, но не смогла, положила под подушку в ожидании пока температура спадет хоть до сорока градусов. Письмо это как бы согревало мою душу…

Но в полдень температура вдруг с 41,3 упала до 35 градусов или ниже. У меня отнялась речь, исчез слух, я будто онемела,

глаза как уставились в потолок, так и застыли.

Больные сразу заметили, что мне не по себе и позвали Катю, которая раздавала лекарства в соседней палате.

Катя подбежала, закричала: «Ой, глаза в потолок!» — и бросилась искать Валериана Викентьевича.

Странное, непередаваемое ощущение овладело мною до того никогда не испытанное, оно не было даже болезненным, но… оно было непередаваемо… Я сразу — что умираю. Органы чувств мне изменили, но не сознание, оно работало отчетливо, как никогда. Итак всё — конец. Прожила на свете тридцать шесть лет — из восемь лет глубоких страданий, которые я неуклонно перемалывала, словно мельница зерно. А теперь всё? Всё? Если бы хоть был загробный мир, где продолжалась сознательная жизнь, но… вряд ли… Просто меня не будет. Небытие! А какой удар маме, которая меня так ждет, и я так мечтала поднять и пронести знамя романтики, которое Александр Грин выронил, умирая в забвении в 1932 году… Да я вообще ничего не сделала на белом свете. Разве что сумела поддержать товарищей в тяжелые часы… О нет, я не дам смерти увести себя ни за что! Я буду бороться! Бороться.

Я напрягла всю волю, все духовные силы, призывая на помощь сознание и подсознание. Я буду жить, я должна жить! Я живу! Я живу, я живу, я живу!

Я изо всех сил сжимала руку Валериана Викентьевича. Он уже давно сидел возле меня, держа за руку, как я вчера держала умирающего Ивана Денисовича… Он понял, что я борюсь, и боялся пошевелиться. А я все крепче сжимала его руку, пока… не заплакала. Я жила. Не умерла. Ощущение умирания оставило меня.

Только после этого врач и медсестра сделали мне укол, протерли чем-то лицо и оба поочередно расцеловали меня.

— Спасибо, — прошептала я.

На другой день сразу после завтрака Катя отвела меня в приемную доктора.

— Вот что я решил, — как-то нерешительно начал Валериан Викентьевич. — Эти безобразия с температурой пора кончать, сейчас мы с Катей сделаем вам укол (он назвал лекарство по-латыни), после чего приступы малярии прекратятся.

Я взглянула на него с удивлением:

— Какого же дьявола?.. Ладно, делайте. Катя набрала шприц, поближе подвела меня к кушетке и всадила в меня иглу.

Когда я пришла в себя, я лежала на кушетке. Оба они вздохнули с облегчением.

— Сильное очень средство, — пояснил доктор, — мне

приходилось делать его военным крепким мужчинам тридцатилетним, и они тут же теряли сознание. Я давно о нем подумывал, но боялся, что вы его не вынесете.

— А почему же теперь?

— Ну второй схватки со смертью вы тоже могли не выдержать, и я решил рискнуть. Слава богу, все сошло благополучно. Больше температуры не будет.

Действительно, на этом малярил прекратилась.

Валериан Викентьевич поехал в Караджар и рассказал о том, что Решетняк перевел меня в «подконвойку».

Кузнецов посоветовал ему задержать меня недельку-другую в больнице, так как он добился права закрыть «подконвойку», но это еще не совсем утверждено.

Через неделю пришел приказ: разобрать колючую проволоку и убрать овчарок.

«Подконвойку», к великой досаде Решетняка, отменили.

Сияющие уголовники гуляли по всему лагерю и заходили в гости к 58-й статье. Перемирие состоялось.

Перед выпиской из больницы мы долго проговорили вечером с доктором.

— Ведь я понял, что вы изо всех сил боретесь со смертью, — сказал он мне, — понял и старался вам не мешать… А потом, когда вы с неожиданной силой сжали мне руку и сжимали все крепче и крепче, я понял, что дело идет на лад — вы победили смерть.

Вы знаете, это у меня второй случай в жизни. Когда был студентом и проходил практику в родильном доме, там умирала от родильной горячки одна женщина, у нее было трое детей, а муж забулдыга. Оставить на него детей было невозможно, и вот эта несчастная стала бороться со смертью, учтите, тогда еще не умели врачи излечивать родильную горячку, а она сама… силой воли… Изо всех сил отгоняла смерть. Она вслух прогоняла ее, и мы все в комнате замерли, боясь помешать ей. Как она внутренне боролась, пот градом бежал по лицу, и она победила. Вы — второй случай в моей жизни. Я никогда вас не забуду…

В бараке меня встретили светло и радостно, меня обнимали, целовали, некоторые плакали.

Шура Федорова пришла с разнарядки расстроенная. Решетняк отказался зачислить меня в нашу бригаду и упорно посылал меня собирать щавель.

— Другой работы для нее у меня нет, — отчеканил он злобно.

И здесь мне снова повезло. Главный агроном взял меня в число сторожей и даже пришел к нам в барак спросить, какое поле я хочу охранять летом?

— Табак, — ответила я.

— Разве вы курите? — удивился агроном.

— Нет, не курю, но мне легче охранять от голодных людей табак, чем помидоры, арбузы или картофель.

Мне на табачном поле поставили шалаш, и я перебралась в поле.

Шурина бригада как раз работала на табаке. Это была моя последняя работа на Волковском. 4 октября меня освободили, если это можно назвать освобождением — просто перевели в другой барак. Но я уже на Волковское не вернулась.

Я тебя никогда не увижу

Письмо пришло в начале марта 1940 года, мама поздравляла меня с днем рождения, писала, что выслали посылочку, о своих делах — как они живут в родном моем Саратове на Волге. А в конце письма, так сказать в постскриптуме, мама сообщала, что в Магадане живет Сергей Неклонский. Он вернулся к жене Александре, а дочь Оля умерла, еще когда они с матерью жили в Иркутске.

Видимо, мама долго колебалась, писать мне о Сергее или нет, и все же решила сказать — таки пересилила себя.

У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах, я сидела на нарах, прижав к груди письмо, и вид у меня, наверное, был какой-то не такой, как всегда.

Подошла встревоженная Маша.

— Валя, что, плохое известие?

— Нет. Слава богу, все в порядке.

— Посидеть с тобой?

— Спасибо. Потом… Сейчас оставь меня одну. — (Что в бараке сто тридцать человек, в расчет не принималось.)

Вечер я провела как бы в оцепенении, женщины просили меня рассказать им какой-нибудь интересный роман, я отказалась, ссылаясь на нездоровье. Ночью, как ни странно, сразу уснула — усталость сморила, но задолго до подъема проснулась, лежала в полутьме барака и думала о Сереже. Он здесь, в Магадане, быть может, совсем рядом, я отдала бы все на свете, чтобы увидеть его! Но я этого не сделаю. Не потому, что он вернулся к жене, которую никогда не любил, а только уважал.

Если бы я знала, что он разлюбил меня, тогда я спокойно могла бы повидаться с ним. Но если Сережа любит меня, как прежде… И теперь увидит меня заключенной… Нет, я нанесла бы ему слишком тяжелую рану. Но ведь он мужчина, он сильный, он же выстоял во всех своих бурях… Зачем я решаю за него, он не мальчик, к тому же с первым пароходом я уезжаю на переследствие, на освобождение, как говорит лагерное начальство.

Я думала, что я никогда его не увижу, но судьба подарила мне возможность этой встречи, я же всю жизнь буду каяться, что не воспользовалась ею, не увидела его еще один раз.

На работе я подошла к Маше и попросила ее узнать в адресном столе один адрес.

— Сама я не могу: с ног до головы в лагерном, а ты одета как вольняшка. Пожалуйста, Маша.

— Узнать для тебя адрес, а потом забыть об этом? — спросила все понимающая Маша.

— Вот именно.

— Хорошо, сегодня же постараюсь.

Адрес она мне достала. И здесь мне немножечко повезло. Перед этим меня смотрел невропатолог из города. В назначенное им лечение входили хвойные ванны. В лагере никаких ванн, тем более лечебных, не было, и врач добился для меня разрешения посещать ванны при его больнице. А начальника лагеря просили отпускать меня с работы на два часа.

Но, подумав, начальник вызвал меня к себе и объявил, что, поскольку я еду на освобождение в Саратов, а меня дергает так, что просто ужас (у меня был тик лица — дергались глаза, брови и немного плечи), он решил дать мне возможность подлечиться всерьез и разрешает мне работать лишь до обеда, то есть до двенадцати часов дня.

Я от души поблагодарила его.

Ванны эти были назначены через день.

В первый же день дежурившая там медсестра сказала санитарке, которая собиралась вымыть ванну после предыдущего больного: «Ванну этой не мой. Разве не видишь, это же зека. Пусть сама вымоет, а также вымоет за собой».

Я вспылила и резко заявила, что для них я не зека, а больная, и, если они не будут как положено за мной ухаживать, я пойду и нажалуюсь врачу.

Они струхнули и помыли ванну, но каждый раз ворчали, что еще заявят на Ивана Васильевича куда следует, что он заставляет их прислуживать врагам народа.

И вот однажды вместо ванн я отправилась к пятиэтажному дому, где жил Сережа, села на скамейку в скверике напротив и рассматривала окна, гадая, за которыми из них живет Сережа.

Сообразив, что до самого отъезда я буду ходить и смотреть на окна, Маша отправилась к своему знакомому врачу, и он помог ей узнать, где работает Сергей Николаевич Неклонский… Он работал в театре драмы художником. Это меня немного удивило и очень обрадовало. Итак, его хобби стало профессией. Тогда на прииске Незаметном, когда он работал в «Алданзолото», он каждый свободный час посвящал рисованию… На север он попал волею судьбы, но север пленил и, можно сказать, заворожил его своей холодной красотой.

В начале нашего знакомства я спросила его:

— Сергей Николаевич, а кем вы работаете в «Алданзолото»?

Он усмехнулся:

— Поскольку вы, как я вижу, любитель английской

литературы, скажем так: клерком.

— Вам нравится ваша работа?

— Нисколько. Но жизнь в данное время не предоставляет мне ничего более интересного. И я исполняю свою работу добросовестно. Мною очень довольны. Кстати, все бегают ко мне за орфографическими и геологическими справками. Зарабатываю неплохо…

Север, конечно. К тому же он был беспартийный. У папы, например, был партмаксимум, и даже на севере он получал четыреста двадцать рублей.

До этого мы жили в Саратове, я училась в университете. Отец только что получил от госбанка новую просторную квартиру окнами на городской парк «Липки».

Но отца вызвали в ЦК и уговорили ехать на Алданские золотые прииски управляющим госбанка. Госбанк там исполнял несколько иные функции, чем в Саратове. В него свозили золото со всех соседних приисков, а потом под охраной везли восемьсот километров к станции Большой Невер, до железной дороги.

Требовался член партии, а среди финансовых работников их было не так много. Отцу пришлось согласиться. Мы бросили квартиру, я — университет, и все поехали с папой.

Дом, в котором мы поселились в Незаметном, стоял возле шоссе, что тянулось от станции Большой Невер до города Якутска, через Незаметный. Это был 1930 год по шоссе беспрерывным потоком шли раскулаченные. На возах сидели дети, старики и заболевшие в пути. Остальные этот бесконечно длинный путь шли пешком.

До меня не сразу дошло, что крестьяне идут, идут день за днем…

Окна были запушены инеем, затянуты слоем льда — какие узоры нарисовал на них серебром мороз!

Квартира наша состояла из огромной кухни (она же и столовая), большой комнаты, где находились папа с мамой и сестренка Лия, и небольшой комнаты на полтора окна — моей.

Полтора окна… Половинка была от второго окна, которое выходило в другую комнату, где жил сосед. Так как стена доходила лишь до подоконника, легко можно было просунуть руку. Сколько я потом получала по утрам через это окно шоколадок, коробок конфет и книг!

Но всё это потом.

Сначала я просто увидела своего соседа. На другой же день по приезде мы с мамой купили в магазине штук десять книжных полок. Я их поставила друг на друга в два ряда по пять полок. В коридоре стоял сундук с моими любимыми книгами, и я их

укладывала на полки, когда с работы пришел Сергей Николаевич Неклонский, живший в этой соседней комнате. Его сразу заинтересовали мои книги. Именно книги, а не я.

Я… Я влюбилась с первого взгляда. Это была моя первая и, пожалуй, единственная такая большая и серьезная любовь.

— Можно взглянуть на книги? — спросил Неклонский.

— Пожалуйста. — Я пододвинула ему стул. Он сел и стал рассматривать книги.

Он с интересом просмотрел все, помог уложить их на полки, даже перетаскал то, что еще лежало в сундуке.

Помню, обрадовался, когда увидел Кнута Гамсуна. Взял себе почитать его «Мистерии».

— А в Незаметном хорошая библиотека? — спросила я.

— Представьте себе, довольно-таки хорошая, почему-то лучше, чем в некоторых областных центрах. В книжном магазине иногда бывает неплохой улов. Хотите посмотреть?

Мы зашли к нему. У него было довольно много книг. Вдруг я увидела «Бедную мисс Финч» Коллинза, издание еще конца прошлого века, и, схватив ее, прижала к груди.

Сергей Неклонский рассмеялся:

— Не собираюсь отнимать, читайте сколько захотите.

— Можно и маме дать потом прочесть?

— Мария Кирилловна тоже любит читать?

— Очень.

— Она гимназию кончала?

— Все так думают, а она ведь из деревни. Всего два класса. Правда, с двенадцати лет в городе и очень много читает, всю жизнь.

— Это вы в нее.

— Папа тоже любит читать…

Так мы с ним познакомились.

Да, я полюбила его как-то сразу, но безнадежно. Он был слишком хорош для меня. Боже, до чего же он был хорош собою. Нет, это не была красота Рудольфа Валентино или Мозжухина. Это была красота духовная, мужественная.

Первое, что я увидела в его комнате, это акварельный портрет очень некрасивой молодой женщины с умным одухотворенным лицом. Мимо такой не пройдешь не оглянувшись. И все же она была очень некрасива: слишком глубоко посаженные серые глаза под низким лбом, густые сдвинутые брови, густые темные волосы, свернутые на затылке в узел, как бы оттягивающий голову назад, крупный подбородок, нижняя челюсть чуть выдвинута вперед. Плечи и грудь были окутаны газовым шарфом, что несколько смягчало твердость

очертаний.

— Кто эта женщина? — спросила я тихо.

— Моя бывшая жена, портрет я делал с фотографии.

— Это вы сами писали портрет жены? — спросила я.

— Бывшей жены. Мы развелись. Я отвез ее и дочку в Иркутск. Они там хорошо устроены у знакомой староверки. Срисовал с фотографии, вот с этой…

Он достал из ящика письменного стола фотографию. Жена его там была изображена с трехлетней дочкой Олечкой.

По стенам висели другие картины, и акварель и масло — северные пейзажи, полные скрытого поэтического очарования.

— Это эскизы, этюды, — пояснил Сергей Николаевич, — это моя радость!

— Вы художник?

— Я уже сказал: клерк. Художник-самоучка, пожалуй. Вам это понравилось?

— Произвело очень сильное впечатление, — я резко отвернулась и стала рассматривать его книги, а Сергей Николаевич впервые стал рассматривать меня.

— Сколько вам лет? — поинтересовался он.

— На днях исполнится двадцать один год. А вам?

— Мне уже двадцать девять, жизнь протекает бесславно. Обстоятельства загнали меня на север, что будет дальше — не знаю. Будущее в тумане… Что будет — то будет.

У него книги были разные научные. По биологии, химии, физике.

Я нашла там Гегеля, Маркса и Ленина. И много книг по теории живописи — все-таки он занимался ею серьезно.

Мама постучала к нам.

— Валя, иди пить чай… Сергей Николаевич, пошли пить чай. Пирожков я напекла с мясом. Жду вас.

Мы вместе пошли на кухню и с аппетитом поели пирожков.

К чаю Сергей Николаевич привес коробку шоколадных конфет.

— Почему младшая дочка — Лия? — спросил он у мамы, помешивая ложечкой чай. — Это красивое имя, но оно же еврейское, а, вы русские.

— А ее звать Поплия. Только ей не нравится ее имя, и она сама просила называть ее Лия. И мы называем — какая разница.

— Вы ходите на лыжах? — спросил он у меня.

— Нет, а что?!

— На севере надо ходить на лыжах; кстати, в магазин привезли лыжи. Пошли завтра купим, а то разберут.

Мы договорились, что он пойдет завтра после работы со мной

в магазин.

Но когда мы на другой день к вечеру вышли из дома, он не то шутя, не то серьезно сказал:

— Но должен вас предупредить, что появление со мной вместе, да еще поход за дружеской покупкой, может полностью испортить вашу репутацию.

Я немного удивилась:

— Что, у вас репутация Дон-Жуана?

— Вряд ли они слышали о Дон-Жуане. Просто установилось обо мне такое общественное мнение.

— Пошли выбирать лыжи. Общественное мнение мне всегда было как-то безразлично. Почему — не знаю, право.

Сергей Николаевич выбрал мне пару отличных лыж и всё, что надо для ухода за лыжами, и мы отправились домой. Нас разглядывали с большим любопытством, похоже, Неклонский был прав.

Меня разбирал смех.

Дома мы разговаривали до полпервого и решили завтра вечером сделать первую вылазку на лыжах. До какой-то высокой сопки. Река Алдан от Незаметного была за семьдесят километров.

Высокая сопка оказалась действительно высокой — выше всех таежных деревьев и других сопок. Мы стояли на краю обрыва почти в небе — небо было вокруг исчерна-синее, звездное, огромное, высокое. А Млечный Путь вел куда-то в иной мир, захватывающий, странный. Мне стало как-то боязно, и я невольно придвинулась к Сергею.

— Не бойся, Валя, — произнес он, — мы, слава богу, не умерли, мы живы, и жить нам еще долго, долго. Как будем жить — это другой вопрос… А в общем, пошли домой.

Настроение его вдруг испортилось. Обратную дорогу он был молчалив. Подходя к дому, он сказал (я расценила это как грубость):

— Почему, когда я прилаживал лыжи к вашим ногам — вы же еще не умеете с ними обращаться, — вы так отчаянно смутились?

— Сергей Николаевич, у вас испортилось настроение. Вам было просто скучно со мной?

— Простите. У меня последний год большей частью плохое настроение. Нехорошо срывать его на вас. Простите.

— Нет ли более короткой дороги домой?

— Есть. Надо выйти на шоссе. Ладно, пошли. Но там, наверное, ведут этих несчастных.

— Раскулаченных?

— Русских крестьян, — поправил он меня сердито. Мы вышли на шоссе и тотчас пришлось сойти с дороги, пропуская обоз с

измученными, уставшими крестьянами, они едва шли.

— Далеко, родимые, до Незаметного? — спросил старик в драном полушубке.

— Скоро будет, вот за этой сопкой.

Они брели долго, а мы дошли до ближайшей тропки и свернули в обход.

— Коллективизация, — насмешливо сказал Сергей, — сердце кровью обливается, когда их видишь. Кому и для чего это нужно?

Дома я прошла к себе, думая, что он в таком настроении пожелает остаться один, но Сережа позвал меня к себе пить чай.

Договорились пойти в воскресенье на целый день за пятнадцать километров. У какого-то ручья, не помню название, там была охотничья избушка для тех, кто, возвращаясь с охоты, не дотянул до Незаметного, падая от усталости.

Утром мама напекла нам с собой пирожков с мясо, с картошкой и пончиков с вареньем. Все это я аккуратно уложила в пакетики и в сумочку.

Отец купил мне меховые унты, и я в этот день обновила их.

— А кто живет в этой избушке? — поинтересовалась у меня мама, наливая в термос кофе.

— Китаец по имени Ван-Хай-Лин, — мгновенно придумала я.

Проходивший по коридору Сергей на миг даже приостановился, но сейчас же прошел к себе.

Дорогой он спросил, откуда я взяла про Ван-Хай-Лина?

— Знаете, такое совпадение, я пишу рассказ… Там зимовье в тайге и китаец Ван-Хай-Лин… вот я и успокоила маму.

— А-а. Вы пишете рассказы?

— Да. Я еще не писатель. Я не тороплюсь, жду, когда буду писать лучше, но я непременно буду писателем.

— Нравится мне это «непременно», — пробормотал Сергей Николаевич. — Герой вашего рассказа китаец?

— Нет. Главный персонаж — простая женщина из староверской семьи Елизавета, необразованная, кончила всего семь классов, рано осиротела, мыкалась по свету — ни профессии, ни защиты, много ее обижали. А когда, обессиленная, измученная, добралась она до этого зимовья, Ван-Хай-Лин приютил ее, дал защиту, предложил работу в его зимовье, а потом и женился на ней. Елизавета от рождения романтик, но даже слова этого не знает и только видит странные, яркие фантастические сны, где она летает, а вокруг прекрасные крылатые существа, а на небе вечером выходит две луны. Все ее считают малость тронутой, и она совсем одна. Как бы одна в пространстве.

— Какая странная новелла. Ты мне ее прочти непременно

или дай прочесть. И давай пойдем быстрее.

Идти было нелегко. Пока мы добрались до заветной избушки, я изрядно устала.

Меня поразила чистота в избе, приготовленные дрова, спички. Вода на лавке, стол, накрытый старой клеенкой, и голые нары на четверых. Сергей расстелил на них свою полудошку из легкого беличьего меха, предложил мне отдохнуть. Я села у стола…

Он положил в печку дров, разжег их, нашел топор в углу и сказал, что пойдет сначала нарубит дров для следующих посетителей. Взял с собой закопченный чайник и ушел.

Я задумалась… Все-таки Сергей Николаевич был мне чем-то неясен…

Он вернулся с охапкой свеженарубленных еловых ветвей и поленьев, которые он нашел возле избы. Вскоре мы вскипятили чай.

— Я здесь прошлый раз оставил чашки, может, целы? — он полез куда-то на верх полки и достал чашки и чай.

— Чай пусть лежит, если у кого не будет, я принес индийский, — он заварил прямо в чайнике.

Мы пили чай и разговаривали.

— Тебе ведь жарко, — заметил он, — потом выйдешь и простудишься, сними этот теплый свитер.

Я сняла верхний и очень теплый свитер из верблюжьей шерсти. Следующий, тонкий, белый, пушистый, из козьего пуха, без застежки, он помог мне снять через голову. А затем… я не успела опомниться, как он перенес меня на нары, стал осыпать поцелуями, что-то на мне расстегивал, что-то просто рвал. Это было так неожиданно, что меня покоробило, возмутило, я начала тотчас бешено отбиваться, почему-то не говоря ни слова.

Вдруг он меня выпустил, отошел к двери и закурил.

— Прости меня. Прости, — сказал он.

Я смущенно привела себя в порядок.

— Не ожидала этого от вас, Сергей Николаевич! — промолвила я и села возле стола.

Он тоже подошел к столу и сел рядом.

— Ты не бойся.

— Я не боюсь. Только больше не повторяйте этого никогда.

— Никогда, никогда?

Он в упор насмешливо посмотрел на меня. Я, кажется, покраснела.

Уходя, мы все прибрали как было, а когда вышли за порог, я быстро отошла в сторону и стала сама прилаживать к меховым унтам лыжи. Руки у меня дрожали, и почему-то ничего не

получалось.

Сергей Николаевич минуты две молча наблюдал за моей возней, затем подошел и сам приладил лыжи. Мы тронулись в путь.

— Пойдем по шоссе, — заметил он, — в воскресенье оно безлюдно.

На шоссе никого не было. Ярко светила янтарная луна, и мы сначала бодро заскользили по укатанной дороге. Но скоро я начала отставать, почувствовала себя безмерно уставшей.

— Будем идти тихо, — заметил он. — Устала?

— Кажется, устала…

— Я тебя перепугал там в избе. Еще раз прости.

— Да ладно, что об этом вспоминать. У тебя же проснулась совесть.

— При чем здесь совесть? — искренне удивился Сергей и вдруг рассмеялся. — Просто ты так отбивалась, и я невольно подумал, что вот так отбиваться может либо опытная кокетка, либо наивное, чистое дитя, что ты и есть такое дитя, — и почувствовал себя обескураженным. Я вдруг понял, кто и что предо мною, и поразился собственной глупости. Произошло недоразумение. Я ведь видел, что произвел на тебя впечатление при первом нашем знакомстве. И все моя проклятущая морда. Порезать ее, что ли, бритвой или ждать, когда это сделает время. Даже моя бывшая жена Шура, которая любит меня больше всех на свете, она любила бы меня так сильно некрасивого?

— Если бы я любила вас, что бы ни произошло с вашим лицом, хоть бы оно превратилось в темную, страшную маску, — я все равно любила бы вас.

— Это тебе кажется, детка.

— Любят не за наружность человека, а за его сущность, за личность. Я понимаю так… Посмотрите, какое светлое небо!..

Мы заговорили о другом, шли и беседовали.

Внезапно нас догнал легковой автомобиль и остановился. Из него вышел секретарь горкома, товарищ Белый. Он был у нас дома, смотрел, хорошо ли отца устроили, запомнил меня.

— Ой, как далеко от дома! — воскликнул он.

Белый предложил подбросить нас до дома. Его шофер, симпатичный загорелый парень, сказал, улыбаясь:

— Мигом домчу. А лыжи пристроим. Сергею, видимо, не очень хотелось принимать это предложение, но он, взглянув на меня, сразу согласился.

Шофер заботливо уложил наши лыжи. Белый сел на свое, видимо, обычное место впереди. Сергей пропустил меня вперед и потому немного замешкался.

Но он уже садился рядом, когда Белый, не оборачиваясь, сказал:

— Побыстрее, ваше сиятельство, и захлопните, пожалуйста, дверь.

Сергей резко поднялся и вышел из машины.

— Ты поезжай, Валя, — сказал он, — я дойду пешком.

Машина тронулась. Я опешила.

— Сережа! — закричала я, хоть до этого называла по имени-отчеству, и схватила шофера за плечо: — Здесь же его лыжи! Остановите машину.

— Поезжай дальше, — сквозь зубы сухо бросил Белый, — князь Неклонский небось дотопает до Незаметного.

— Сейчас же отдайте лыжи! — закричала я шоферу, и он послушно остановил машину.

— Извините, Павел Федорович, — возразил он Белому, — но, по-моему, нельзя ненавидеть человека лишь за то, что он родился в семье князя, а не его садовника или шофера. — Он открыл мою дверь и вышел сам из машины. — Которые тут его лыжи?

Я забрала обе пары лыж и, поблагодарив шофера, отошла медленно назад.

Машина отъехала.

— Ты же устала, — попенял мне Сергей и стал прилаживать лыжи к моим ногам. Я уже не смущалась — привыкла. Собственно, я бы уже сумела и сама.

Мы скользили по дороге, не торопясь. Перебираясь через очередную сопку, на вершине отдыхали. Было тихо и мирно под звездными небесами.

Я чувствовала, что мы стали немного ближе друг к другу, и это сознание меня делало почти счастливой. Но что Сергей Николаевич может меня полюбить… в такое счастье я еще не верила.

— А жену свою вы любили, хоть в начале брака? — спросила я, разглядывая в сотый раз ее портрет.

— Я никогда не любил Шуру, — сказал Сергей.

— Но почему же тогда вы на ней женились?

— Так получилось, могу рассказать. Я тогда работал матросом на реке Лене, потом боцманом. Зимой наше судно ремонтировалось в старинном староверском селе. Комнату я снял у Шуриного отца — строгого старовера. Аскет, фанатик русских православных, он атеистов не терпел. Для меня он сделал исключение. Как раз из-за моего нетерпимого для всех происхождения, которое и загнало меня из Ленинграда на Крайний Север. — Он увидел, что мне хочется спросить и уточнил: — Старинный дворянский род Неклонских.

«Князь Неклонский» — вспомнила я издевательскую фразу секретаря горкома партии, но дальше уточнять не стала.

— У этого фанатика было два сына, — продолжал Сергей, — которые после армии не вернулись домой, и дочь Шура.

Шура была неграмотная девушка, совсем неграмотная — ни читать, ни писать не умела. Но умна от природы. Тем летом с нашим суденышком произошла поломка, и мы временно осели для ремонта. Лето было очень жаркое, и я спал на сеновале. Ночью Шура пришла ко мне сама в одной рубашке… Всё получилось, как она хотела. Произошло это так неожиданно.

Ни она, ни я даже не подумали о последствиях. А осенью, когда я пришел из последнего рейса, трясясь от страха, Шура твердила, что отец убьет, когда узнает всё, все узнают — вымажут ворота дегтем, и отец убьет ее. «Он же убьет меня!»

— За что?

— У меня же будет ребенок. Я не знаю, как от него избавиться. У нас в селе нет таких старух, которые умеют избавить.

Я велел ей перестать болтать глупости. Никто ее не убьет. Всё будет в порядке.

Пошел к ее отцу и посватал Шуру. Отец дал согласие. Венчал нас староверский поп. Мне-то это было в высшей степени безразлично.

После свадьбы я сказал сияющей жене:

— Шура, мне жаль портить тебе радость, но знай, что я тебя не люблю, не любил, никогда не полюблю. Поживем с тобой года три, и я разведусь с тобой… Я отвезу тебя в Иркутск. Можешь к отцу не возвращаться. И не плачь. Успеешь поплакать… через три года.

Когда она родила Олечку, мы переехали сюда. Я хотел было устроиться в Якутске, у меня там оказались друзья. Но не смог.

— Вы прожили с ней три года?

— Ровно три. Сейчас она в Иркутске. Высылаю ей денег достаточно, чтоб она беспечно сидела у дома на лавочке и судачила с соседями, но она предпочитает учиться на рабфаке.

…После обеда я пошла в больницу на ванну, затем зашла к невропатологу — он меня просил зайти.

Я еще раз поблагодарила его за ванны, он отмахнулся:

— Пустое! Больше, чем ванны, вам сейчас поможет укороченный рабочий день, наберетесь силенок перед отъездом…

— Это вы просили за меня нашего начальника, — поняла я.

— Я… но точнее, моя жена, она работает в управлении лагерей… у Вишневецкого. Сначала не решилась его просить, думала — откажет, но потом набралась храбрости. Я ей столько о

вас рассказывал… Но, к ее удивлению, Вишневецкий сразу согласился и позвонил начальнику вашего лагеря.

— Вам обо мне рассказывала Маша?

— Да. Она иногда находит возможность зайти к нам. А привел ее к нам впервые мой друг, еще когда она была у него в психолечебнице.

Я простилась и ушла и неожиданно для себя самой отправилась к театру. Подошла к афише, шел «Гамлет»… Неужели сюда, в Магадан, приехали работать хорошие артисты, которые могут играть «Гамлета»? Фамилии были явно обезличенные — Иванов, Петров, Сидоров. А в конце афиши я прочла: художник Неклонский!

Я долго смотрела на дорогую фамилию…

Затем села на ближайшую скамейку в театральном скверике.

Да, у нас с ним все началось с постепенно нарастающей дружбы. Но прошло не так много времени, и Сережа сказал мне:

— Валя, а ведь я люблю тебя, люблю!

Должно быть, он в моих глазах прочел то, что ему хотелось, он прижал меня к себе и стал целовать.

Женщина всегда чувствует, знает, по-настоящему ли ее любят.

Чем дальше, тем я все более убеждалась, что Сережа любит меня по-настоящему, глубоко и верно, как и я его.

Как мы оба были счастливы! Но Сережей все время владел страх потерять меня.

— Я успокоюсь, лишь когда мы поженимся, — как-то сказал он мрачно.

— За чем же дело стало? Давай поженимся, Сережа, пойми и запомни: я тебя люблю, юридическая сторона меня нисколько не тревожит, можно зарегистрироваться, можем жить так, как тебе лучше. Может, ты не разведен с Шурой? Тогда я всё предоставляю времени. Повторяю, я люблю тебя, и мне важно лишь одно: чтоб и ты любил меня.

— Спасибо тебе, дорогая, с Шурой я разведен, дело не в этом…

— А в чем?

— Дело в твоем отце.

— Папа тебя не любит, но, знаешь, даже в старое время дочери обходились без родительского благословения и были счастливы.

— Видишь ли, ты не представляешь, что здесь поднимется, как только узнают о нашем браке.

— Да какое им всем дело?

— Видишь ли, Валя, меня здесь вообще не любят, не терпят,

даже когда не знали о моем происхождении. Просто за то, что я на них не похож. Что я не пью с ними. В ресторан хожу лишь обедать. Много читаю, много покупаю книг, в свободные дни рисую картины, хотя вовсе не художник… и, наконец, за то, что за мной бегают женщины, ну а я порой уступаю, если нахожу ту или иную достаточно интересной… Но когда узнали о моем происхождении, эта неприязнь приняла политический характер, превратилась в ненависть.

— Зачем ты им рассказал?

— Что ты, не думал. Приехал этот кавказец Махарадзе, бывший деникинский поручик. Он увидел меня в ресторане и на весь зал заорал: «Князь Неклонский, какими судьбами?» Получив от меня изрядный втык, он взял свои слова назад, но было уже поздно. Белый через милицию (или НКВД) докопался до моих родных. Так вот, на мою голову выльют ушат грязи, больше сфабрикованной, а твои родители, отец в особенности, будет всему верить.

— Сережа, не надо преувеличивать. И главное, не придавай этому такое значение. Важно то, что мы друг друга любим, остальное не так уж важно. А папе я объясню. Самое главное для него — почему ты пошел в революцию к белым.

— Как ты это будешь объяснять?

— Как есть на самом деле. Тебе же было всего шестнадцать лет! Куда еще мог пойти мальчик из дворянской семьи в 1918 году. Только в белую гвардию. Но ты же ушел от них.

— Ушел. Да. Но два года был у Деникина.

— Так что, теперь до самой старости об этом тебе будут напоминать?.. Сережа, я прошу тебя, давай уедем отсюда.

— Меня загнали на север, и некуда мне теперь ехать, — мрачно возразил он.

— Пусть на север, но давай хоть из Незаметного уедем. На какой-нибудь прииск. Сережа оживился.

— А знаешь, это реально. Я поищу себе работу на Алданских приисках. Мы поженимся и выедем, как только я найду что-либо подходящее, с квартирой и прочее.

Сергей нашел себе работу быстрее, чем мы думали. Правлению «Алданзолото» нужен был свой представитель на одном из крупных золотых приисков, но не было подходящего человека. Когда Сережа предложил свою кандидатуру, они удивились, но охотно ее приняли. Сережа выехал на этот прииск на пару дней.

Пока он ездил, я написала вчерне рассказ о геологе Филиппе Мальшете. Прототипом послужил один из друзей Сергея. Мы познакомились с моим героем еще по дороге в Незаметный —

вместе ехали со станции Большой Невер. Он как-то сразу сдружился с нашей семьей, и мы ехали вместе, порой в одних санях. Еще при царе, кажется в 1907 году, Филипп Мальшет был сослан на Крайний Север. После революции он мог вернуться в свой родной Петроград, но он участвовал в боях за Советскую власть.

После его выдвинули было на партийную работу, но он отказался категорически, заявив, что он геолог по призванию и геологом останется. Ни уговоры, ни запугивания, ни угрозы не помогли.

Он много ездил по северу с геологическими партиями, пока не осел на Алдане. Надо было куда-то привести жену (жену он взял из коряков). Выучил ее грамоте, но читать так и не смог приохотить. К книгам она отчего-то испытывала явную неприязнь, как и к его минералам. Может, потому, что, возвращаясь из экспедиции, муж все свободное время отдавал книгам.

У них было четверо детей… Мальшет несколько раз делал попытку вернуться в Ленинград, где у него были родные — братья, сестры. Но возвращался с дороги. Однажды все же добрался до Ленинграда, обрадовал родных подарками — мехами. Устроился на работу… Через пару месяцев вернулся на Алдан.

Когда мы с ним познакомились, он как раз уезжал в Ленинград, но, проехав две станции, сошел с поезда и вернулся товарняком обратно на Большой Невер.

Это была последняя попытка.

— Больше не поеду, — сказал он мне. — Я обрел новую родину, ничего не поделаешь. Ленинград мне стал чужим.

Филипп Мальшет очень любил Сережу, хотя знал о нем всё.

Он и меня полюбил и от души радовался, что мы собираемся пожениться.

— Я так рад за вас обоих, но особенно за Сережу, — сказал он мне однажды, когда зашел днем, занес какую-то книгу. — Сережа ведь никого никогда не любил, — сказал Филипп Михайлович, — я очень боялся, что он принадлежит к тем людям, которые так и проживут свой век, не узнав, что значит самому любить. А тебя он любит, Валя… И я уверен — ты дашь ему счастье.

— А вы любили когда-нибудь… по-настоящему?

— Да. У меня была…

— Кто же она?

— Дочь преуспевающего врача. Валентина Даль. Мы любили друг друга беззаветно, преданно. Но жизнь разбросала нас в разные стороны. Она была профессиональным революционером. Я тогда им еще не был, уж так получилось, что мои друзья, моя

любимая… я попал вместе с ними. При обыске у меня нашли литературу, которую друзья просили сохранить всего два дня… В общем, я получил ссылку в Якутск. Валентина — тюремное заключение. Я бежал на Чукотку, где пристал к геологической экспедиции. Ее освободила революция. В 1920 году она была расстреляна белогвардейцами в сельской тюрьме… Я ее не забывал никогда.

Вот об этом Филиппе Мальшете я написала новеллу. К его духовному облику я добавила кое-что от Сергея, кое-что от самой себя.

Сергею новелла очень понравилась.

— Ты будешь большим писателем, — сказал он, — я верю в тебя, у тебя же литературный талант, Валя. Работай, пиши. А этот рассказ надо отпечатать на машинке, я попрошу нашу машинистку, очень славная женщина.

Через два дня он привес рассказ, напечатанный на машинке.

— Филиппу дадим прочесть? — спросил он.

— А если он узнает себя?.. Я даже имя не изменяла.

— Прости, Валя, но там лишь его имя. Это отнюдь не Филипп, так что не бойся. Он поймет, что ты таким его видишь, и улыбнется. Но в общем ему будет приятно. Доставь ему эту радость.

— Хорошо, пусть читает.

— В какой журнал думаешь послать?

— Ни в какой: рано мне еще печататься. Я еще только будущий писатель.

— Может, это и правильно — до тридцати лет не напечатать ни одного рассказа и с первым рассказом в печати явиться вполне зрелым писателем. Как Мопассан.

В ближайшие дни мы с ним поехали на наш прииск, расположенный по берегу Алдана. Осмотрели комнатку, которую ему предоставили. Она освобождалась через полтора месяца. Тот, кто ее занимал до этого, уезжал на родину, под Киев. Он накормил нас вкусными щами, как потом оказалось, из медвежатины.

В ожидании машины мы еще долго бродили по берегу замерзшего Алдана, держась за руки, как дети.

Я была так счастлива. Безмерно счастлива! И все же какая-то неясная тревога томила меня, предчувствие какой-то беды.

А, попросту говоря, я боялась потерять Сергея.

Все так же шли по шоссе колонны русских крестьян — измученные, обмороженные, с детьми и стариками. Отец говорил, что их гнали в глубь тайги и оставляли там на поселение. Пилы, топоры, палатки — вот всё, с чем они начинали новую жизнь.

Разбивали при морозе сорок градусов палатки и спиливали деревья, выкорчевывали пни — готовили поле для посева…

В живых оставались немногие.

Если бы даже это были кулаки (отец говорил, что большинство из них самые обыкновенные крестьяне-середняки и даже… бедняки, с которыми сводили счеты)… — кто бы они ни были, поступать так с ними было жестоко. Очень жестоко!

Не знали мы, что готовит нам судьба… В Незаметном было совершено преступление. В госбанке работала довольно красивая женщина Анна Ивановна, жена заместителя Белого, у них был прелестный сынишка лет семи — Миша.

И вот этот Мишенька пропал. Начались поиски. Дорожные рабочие показали, что видели Мишеньку, его вел за руку к лесу Махарадзе. Однако вечером вернулся из лесу один…

Махарадзе не отрицал, что гулял с мальчиком (он бывал в доме Анны Ивановны, и многие даже считали — был влюблен в нее), но он гулял с ним не более получаса и проводил мальчика до дома.

Сначала ему поверили, но мальчика нигде не было. Стали прочесывать лес. Мишеньку нашли лишь на десятый день с помощью милицейской собаки. Мальчик был задушен. Врачебное обследование установило насилие. Бросились к Махарадзе, но, видимо, нервы у него не выдержали, и он ночью бежал. Поймали его на станции Большой Невер, когда он уже садился на поезд Владивосток — Москва.

Его привезли, судили, приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение.

Через неделю после суда над Махарадзе было принято постановление исполкома о профсоюзной чистке. Был митинг, на котором Белый произнес страстную речь об очищении советских золотых приисков от всякой швали — преступников, белогвардейцев, врагов народа и прочих.

Сережа уже должен был ехать работать на прииск, но начальник «Алданзолота», избегая его взгляда, сказал: надо переждать чистку.

«Чистка» проходила в народном доме. В день, когда должны были «чистить» Сережу, он попросил меня в народный дом не ходить.

— Как тебе будет легче, — сказала я, — раз не велишь — не пойду.

Я тогда весь день стояла у окна, смотрела, как бредут раскулаченные. Вышла мама с большой кастрюлей горячих пирожков и раздала детишкам.

Конвой угрюмо молчал — не решался помешать.

Я горько заплакала. Сердце мое сжималось от плохого предчувствия. Ведь я знала, как люто Белый ненавидит Сережу.

Сергей пришел к ужину, но есть не захотел, прошел к себе и сел на кровать, обхватив голову руками. Я села рядом.

— Болит голова? Милый, может, поешь что-нибудь?

— Пока не могу, потом.

Я встала рядом с ним и прижала его голову к своей груди.

Мне хотелось спросить его, но я ждала, когда он сам расскажет.

И он рассказал. Привлек меня, посадил рядом, крепко прижал к себе.

— Родная моя, любимая, ты только не расстраивайся… В моей жизни это не первый удар. Я попал в число тех, кого выселяют как белогвардейца и по происхождению… Нам дали три дня на сборы… и катись куда хочешь. Алданские золотые прииски должны быть чисты от всякой нечести.

— Куда же мы поедем? На небо, что ли, нам вознестися живьем?

Он посмотрел на свои наручные часы.

— Не будем терять времени. Идем на телеграф, мне надо переговорить по телефону со своим другом в Якутске. Может, он поможет мне устроиться с работой. Он любит меня как настоящий друг и выберет самое лучшее из возможного.

— Кто он?

— Бывший капитан парохода на Лене, это я у него работал боцманом и ушел, когда он переехал в Якутск. Интереснейший человек! Коммунист, по национальности якут.

Мы вместе сходили на телеграф, и Сережа переговорил со своим другом. Тот обещал сделать, что сможет.

На обратном пути мы зашли в ресторан и поужинали, аппетит у обоих был неважный.

Вечером мы долго-долго сидели вместе. То говорили, то целовались.

Утром он пошел на свою работу и уволился.

К вечеру ему принесли телеграмму из Якутска. Вот ее текст, я запомнила его навсегда: «Дорогой Сережа, сильно скучаю по тебе. Очень хотелось устроить тебя в Якутске, не вышло, — может, в будущем. Единственная работа, которая нашлась для тебя, это заведующий факторией на берегу Ледовитого океана. Телеграфируй согласие.

Выбора сейчас нет. Твой Семен».

Сережа телеграфировал согласие. Поговорил с Семеном Семеновичем еще по телефону. Фактория на безлюдном океанском берегу. Он будет и заведующим и сторожем. Раз или

два в году приезжают эскимосы, чукчи, якуты, чтобы сдать меха и забрать себе продукты питания.

Вечером, когда мы остались одни, Сережа сказал:

— А теперь давай поговорим.

Сердце мое словно упало от нехорошего предчувствия.

— Почему ты так побледнела? — он крепко сжал мои руки. Поцеловал. — Валя! Выслушай меня, постарайся понять. Дай мне твои руки. Пожалуйста, выслушай внимательно и пойми… Когда я отвез бывшую жену и дочку в Иркутск и устроил их там на квартиру к староверке, на прощание у нас произошел такой разговор.

— Я должна знать, — сказала Шура, — есть ли хоть одна крохотная надежда на то, что я смогу когда-либо, пусть через десять лет, прийти к тебе и ты меня примешь, или это уже конец?

Она как бы выясняла, стоит ли ей жить. Это звучало как подтекст и рассердило меня.

— У тебя дочь. Тебе надо жить ради ребенка.

Она попросила ответить на ее вопрос честно и правдиво. И я ответил правдиво. Вот что я сказал:

— Александра, нельзя так любить мужчину, чтоб больше ребенка, больше родины, больше Бога, который у тебя есть, — нехорошо это! Поживи одна, оглянись вокруг, сколько интересных людей, не на мне сошелся клином белый свет.

— А ты, значит… уже никогда… не вернешься к нам с Олечкой? Разве есть женщина, которую ты любишь?

— Нет такой женщины.

— Может, ты никого так и не полюбишь? И когда я сказал: если я встречу женщину, которую полюблю и она полюбит меня, я навсегда останусь с ней. Если нет, то… может, лет через десять вернусь к вам с Оленькой. Только лучше не жди, найди себе другого, с ним будешь счастливее. Так вот, что случилось…

Я встретил женщину, которую полюбил. Я только никогда не ожидал, что при всем своем эгоизме я полюблю ее больше, чем себя самого. А случилось именно так. Подожди, не перебивай, слушай. Я не женюсь на тебе. Потому, что тебе тогда придется поставить крест на своем творчестве.

— Чушь!

— Увы, не чушь. По происхождению я из княжеского рода, бывший белогвардеец, офицер — я обречен скитаться всю жизнь и таскать тебя по своим скитаниям. Это просто нечестно с моей стороны. Ты любишь, но ты наивный ребенок, я, к сожалению, лучше знаю жизнь.

Такие, как Белый, будут появляться и на твоем пути. Ты талантлива. Для твоих завистников муж-белогвардеец, да еще

князь в придачу, — просто находка. Нет, Валя, я эгоист, но не по отношению к любимой женщине. На эту проклятую факторию я поеду один. Пойми меня. А ты… возвращайся в Саратов или в Москву… учись… пиши… добивайся своего счастья. Ты будешь большим писателем. Я в тебя верю. Что с тобой?

Я похолодела, в глазах потемнело, губы не шевелились.

Сережа положил меня на постель, тер мне виски, давал что-то выпить.

Я была как бы в обмороке, но сознание меня не покинуло. Я вдруг поняла, что Сергея не уговорить, не переубедить.

Вот и нет моего счастья.

Мы провожали Сережу вдвоем с Филиппом Мальшетом. Он устроил Сережу на попутной геологической машине, шедшей в Якутск, откуда он должен был получить назначение в факторию. С ним было два чемодана, один с вещами, другой с книгами. Остальные книги Филипп обещал постепенно выслать почтой или попутной оказией, как получится…

Когда мы прощались с Сережей одни в его комнате, мною овладело такое отчаяние, что я чуть не потеряла сознание. Едва нашла в себе силы сказать: «Возьми меня с собой! Я не переживу…»

— Валя, пожалей меня! — хрипло сказал Сергей.

И я из последних сил овладела собой. Пусть поступает, как он сам находит разумным и лучшим.

Машина ушла. По шоссе тянулись раскулаченные — их горе, наверно, было больше и трагичнее?

Филипп отвез меня домой.

В мае мы уехали в Саратов: мама, сестренка и я. Отец пока остался. Приехал только через год.

Я училась, работала, стала печататься, но что бы я ни делала, с кем бы ни говорила, меня не оставляло видение одинокой фактории на берегу Ледовитого океана, не оставляло на протяжении всех этих лет.

…А вот теперь я сидела на скамейке и ждала, когда мимо пойдет Сережа.

Я сразу узнала его, хотя он изменился неузнаваемо. Ушла его красота. Резче стали черты лица, огрубела кожа, стал крупнее прямой нос, тверже губы, тяжелее подбородок, со лба начинались залысины, виски поседели. Да, эти десять лет оставили на нем свой тяжелый след. От его былой красоты не осталось и следа.

И надо было любить и знать его, чтобы узнать сразу, но как рванулось к нему сердце, как он мне был дорог — еще дороже прежнего.

Сергей, мой любимый, зачем ты позволил жизни разлучить

нас?!

Я вскочила со скамейки и окликнула, как когда-то:

— Сережа!

Он вздрогнул и остановился, но не оглянулся. Он узнал мой голос, но не верил, решил, что ему это слышится.

— Сергей Николаевич, — как можно спокойнее произнесла я, подходя к нему.

Он стремительно обернулся. Он смотрел на меня. В мое лицо, в мои глаза, на мой лагерный бушлат, на лагерные башмаки (хотя дали самые маленькие, тридцать шестого размера), на шапку, на юбку из чертовой кожи и опять в лицо.

— Валя — моя Валя… Но этого не может быть… ты… — Он дотронулся до казенного бушлата.

— Я заключенная, Сережа, с 1937 года. Срок десять.

— Тебя! Тебя! О Боже! С ума можно сойти. Валя! Он был потрясен, но наконец справился с собой, обнял меня, и мы поцеловались…

Плевать он хотел на то, что люди смотрят.

— Что угодно я мог ждать, но чтоб такое… арестовали тебя… Это уже чересчур. Но что мы здесь стоим? Пойдем ко мне в мастерскую. Я работаю в театре художником.

Сережа провел меня в свою мастерскую (в театре был выходной день и никого не было), закрыл дверь на крючок, помог мне снять бушлат, будто это было дорогое манто, и я очутилась в его объятиях.

— Я думал… что тебя никогда не… увижу, — шептал он между поцелуями. — И вот встретил… Родная, любимая.

— Ты меня еще любишь?

— Я никогда не переставал тебя любить, я всегда тебя помнил. Но лучше я никогда бы тебя не увидел, чем видеть в этом бушлате… Иди посмотри, это моя работа… как говорится, для души.

Он прошел к закрытому мольберту в углу и откинул полотно. Там был мой портрет. И похоже и не похоже. Красивее, чем я была на самом деле. Называлась картина «Русская студентка».

— Теперь ты больше похожа на этот портрет, — сказал Сергей, вглядываясь в меня. — У тебя стало еще более одухотворенное лицо… С режиссером мы друзья, — продолжал он, — он умный, сердечный человек, я поговорю с ним, может, он сумеет что-либо сделать для тебя. У нас половина артистов заключенные. Работают в театре, имеют отдельные комнаты, а вместо лагеря ходят раз в месяц отмечаться в НКВД. Вместе мы непременно придумаем что-нибудь для тебя.

Я вздохнула.

— Сережа, дорогой, ничего не надо придумывать. У меня отменен приговор. С первым пароходом, в конце мая, я уезжаю на переследствие в Саратов.

— О-о!.. Хотя я рад, что переследствие. Поздравляю… Ты когда узнала, что я в Магадане?

— Месяца полтора назад, но все не решалась прийти к тебе…

— Но почему? Сколько времени потеряно!

— Я знала, что ты снова женился на Шуре и не хотела омрачать ее, да и твою, жизнь.

— Эх ты! К твоему сведению, мы не женаты. Раз возник о ней разговор, давай я тебе все объясню, чтоб потом о ней не упоминать больше.

Шура… Ею владела ложная идея: стать достойной меня. То, что она меня дико переоценивала, — это факт, разуверять ее было бесполезно.

Окончив рабфак, она поступила в медицинский институт. Училась там отлично, была оставлена в ординатуре. Блестяще защитила диссертацию, стала кандидатом наук, давно переросла меня, но все мечтала стать достойной Сергея. Писала мне аккуратно, связующей нитью у нас была Олечка…

На фактории я выдержал шесть лет. Затем перебрался в город на Чукотке — Анадырь.

— Сережа, прости, что перебиваю, но только скажи мне: Филипп Мальшет жив?

— Жив и здоров. Это он и перетащил меня именно в Магадан. Еще работает. Был в числе первых геологов, высадившихся на этот берег. Ты его увидишь. Представляю, как он будет рад этой встрече. Но как огорчится, узнав…

— Что я здесь… Пора привыкнуть, ведь Магадан строят заключенные, Сережа.

— Да, я знаю.

— Так вот, случилась беда. Оленька в каникулы поехала с семьей подруги на Байкал. Оля утонула. Тела не нашли. Байкал не вернул даже тела.

Шура чуть с ума не сошла и… до сих пор не может себе простить, что первой мыслью при известии о гибели дочери была такая: порвалась единственная ниточка, связывающая нас.

Это потом уже осталось одно горе и чуть не убило ее.

— Ладно, Сережа, я всё понимаю. Как ты мог при такой беде не вернуться к ней?

— Я переехал в Магадан, она взяла сюда назначение — требовались квалифицированные врачи. Она терапевт и кардиолог… И последнее, мы не регистрировались, но она при разводе оставила мою фамилию. Так что для всех мы — супруги

Неклонские… А сейчас идем ко мне.

— Хочешь познакомить с супругой?

— Я забыл тебе сказать, она в Москве. На курсах повышения квалификации кардиологов. Проходит стажировку в какой-то клинике.

Мне не очень хотелось идти к ним на квартиру, видеть следы присутствия Шуры. Но, как это ни странно, именно этого я там не увидела. Ни малейшего следа ее индивидуальности, словно Сергей жил один. Чисто, аккуратно, но на всем отпечаток личности Сергея Неклонского. Словно она там и не жила, даже книги по медицине не бросались в глаза, они были сложены на самых нижних полках стеллажей.

— Она тебя боится?

— Боится, что я уеду.

— О господи, живет, как на вулкане! Да успокой ты ее раз и навсегда.

— Я не знал, что тебя встречу, и сказал ей, что теперь вряд ли куда уеду, но я не могу лгать, что я люблю ее, да в этом женщину и не обманешь. Я ее никогда не любил и никогда не полюблю… Ты, наверное, проголодалась? — вдруг спросил он. — Подожди минут десять, я принесу обед из ресторана, это у нас близко — на углу….

Он быстро сходил за обедом, и мы поели, потом сварили себе кофе и выпили по стакану кофе со сливками. Потом уселись рядом на диван, держась за руки.

— Теперь рассказывай о себе, а я буду слушать, — сказал Сергей.

Я рассказала об аресте, о допросах, как я рассказывала женщинам в бараке. И он невольно улыбнулся.

— Чувство юмора тебя не оставило. Пожалуй, даже возросло. В твоем изложении жизнь — это есть трагикомедия.

— Так ведь так и есть.

Я была у него допоздна, и он проводил меня до ворот лагеря.

Начались белые ночи. Стоял месяц май.

К провожаниям здесь привыкли. Впускал меня солдат и подмигнул в сторону уходящего Сережи.

— Вот и правильно — молодая, а сидите одна с бабами.

Ни в одном лагере не творилось того, что в «Женской командировке» в Магадане. Что ж, на сто мужчин здесь была одна женщина. Отсюда — мужской сговор.

Мне лично не раз предлагали сожительство, обещали отдельную комнатку в городе, легкую работу вместо лагеря — отмечаться раз в месяц в НКВД. И так как я упорно не соглашалась, добавляли: четыреста рублей посылать маме в

Саратов, ну и, конечно, помогать мне самой.

Многие не выдерживали — соглашались. Даже те, у кого мужья страдали без права переписки на золотых приисках Колымы. Грустно!..

Мы виделись с Сережей ежедневно. Мы говорили, говорили, не могли наговориться.

Шесть лет жизни в фактории на берегу Ледовитого океана стоили ему огромных душевных сил. Но в то же время они много дали ему как художнику.

Можно смело сказать, что эти годы сделали из любителя подлинного художника, и это радовало меня. Сережа мечтал об участии в выставке. Я от души пожелала ему добиться успеха.

Навестили мы с ним Мальшета.

Узнав, что я здесь, что у меня срок десять лет, а обвинение — попытка реставрации капитализма методом террора и диверсии, Филипп Мальшет выругался беззвучно и стал просить у меня прощения.

— За что? — поразилась я.

— Как старший друг, я должен был добиться, чтоб Сергей взял тебя с собою, или помочь тебе добраться до этой фактории. Вы оба были бы счастливы, ты не попала бы в тюрьму.

— Не добивай меня, Филипп, — сказал Сергей. — Я сделал в жизни четыре огромные ошибки, так вот именно эта — самая большая, самая огромная.

Я не спросила, какие именно эти ошибки, я и так знала какие.

— Не надо об этом думать, Сережа, — сказала я, — мы прожили меньшую половину жизни, нам еще жить долго-долго, надо прожить хоть теперь по возможности без ошибок. Честно, чисто и серьезно работая по призванию, как Филипп Мальшет.

Я спросила Мальшета: как его семья?

Он рассказал: жена умерла, а дети выросли, окончили среднюю школу и разъехались кто куда. Один — матрос, другой — оленевод, третий учится в Новосибирске на геологическом, а дочка фельдшер, вышла замуж и уехала с мужем во Владивосток. Муж у нее военный.

А у Филиппа Мальшета остался теперь только один Сережа.

Договорились, что, если меня после переследствия освободят, я напишу и Сереже и Филиппу. Если, паче чаяния, меня не освободят — я ничего им писать не буду. Они оба просили меня написать в любом случае, но я наотрез отказалась.

Как мало подарила нам судьба после десятилетней разлуки.

23 мая утром мне сообщили, что я могу не идти ни на какую работу, так как завтра, 24 мая 1940 года, уезжаю на переследствие в Саратов первым пароходом.

— Собирайся…

— Так бухта Нагаева еще затянута льдом! — удивилась я.

— Это забота капитана. Пароход отойдет в два часа дня. Не опоздай смотри.

— Не опоздаю.

В эту ночь я осталась у Сережи, мы совсем не ложились спать, не тушили света, не сводили глаз друг с друга.

— Неужели я тебя никогда больше не увижу? — с отчаянием сказал Сергей утром, когда пили мы кофе.

«Я тебя никогда не увижу», — подумала я, но вслух сказала:

— Не знаю, Сережа. Возможно, никогда… а вдруг, снова встретимся?

— Позвони в лагерь, может, не сегодня… Может, отложили отъезд, ведь льды?

Я позвонила, мне ответили, что сегодня.

Мы с Сережей простились у него дома, затем он проводил меня до лагеря.

Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. Не знаю, о чем думал он в этот час, но я хотела запомнить его лицо, его серые глаза.

— Прощай! — еле выговорила я.

— До свидания, — сказал он.

«До свидания, любимый, я тебя никогда не увижу!» — билась в голове удручающая мысль.

Я пошла, поминутно оглядываясь, он смотрел мне вслед, держась за решетчатые железные лагерные ворота.

Я вдруг вернулась, побежала к воротам, протянула ему обе руки, он поцеловал их.

— Жду письма, — сказал он.

— Если освобожусь.

Я пошла, ноги были как ватные — хоть бы не упасть.

Когда оглянулась, Сережи уже не было.

— А он тебя любит… этот старик, — сказал солдат, который довел меня до самого барака.

— Почему старик? Ему только тридцать девять лет.

— Виски седые… Вот я и подумал… Тяжело расставаться?.. Но ведь ты, я слыхал, едешь на освобождение, должна радоваться.

К двум часам нас отвезли в бухту Нагаева и посадили на пароход.

Девять женщин (нам дали десятиместную каюту) в две тысячи мужчин, едущих на переследствие.

Мы еще долго сидели на палубе и ждали, пока льды взрывали аммоналом. Когда мы вышли по узкому каналу среди льда из бухты Нагаева, Охотское море оказалось свободно ото льда, небо

было серым и хмурым, горизонт окутан туманом.

Будущее тоже в тумане.

«Я тебя никогда не увижу, любимый мой…»

Я прожила долгую жизнь, но больше никогда не встретила Сергея — так сложились обстоятельства.

Я девять лет была в лагере — выжила. Девять следующих лет, пока не умер Сталин, я скиталась по окраинам родины с запятнанным паспортом. Я была не одна, с мужем, которого любила за его глубокую человечность, любила как хорошего человека. А любить, как моего Сережу, я никогда никого не могла.

В 1954 году меня реабилитировали, но стать писателем мешали.

Крепко мешали, я победила. Я стала писателем, в таким, каким хотела — романтиком, продолжателем Александра Грина.

В Магадане Сергей давно не проживает.

Где он и жив ли, я не знаю.

Тяжелое предчувствие меня не обмануло… «Я тебя никогда не увижу…»

Эх, кабы мы родились с ним на полвека позже! Как мы были бы счастливы!

У стен родного города

Летом 1951 года мы с мужем жили на необитаемом острове посреди Волги, неподалеку от Саратова… Так сказать, у стен родного города, куда я не смела войти, так как дала милиции подписку в том, что в течение двадцати четырех часов моей ноги не будет в Саратове, иначе получу срок, следовательно, нас с мужем разлучат и мы поедем разными этапами — он в один лагерь, я в другой. И не исключено, что жизнь разлучит нас навсегда.

Последнюю зиму мы жили на Украине в Кировоградской области — в селе Михайловке.

Муж, как и везде, преподавал русский язык и литературу, а я писала очерки по заданию «Кировоградской правды» (у них не было очеркиста), их переводили на украинский язык и печатали под моей собственной фамилией.

Но весной, как и везде каждую весну, нас вызвали в районное НКВД и сказали то, что говорили везде:

— Мы целый год наблюдаем за вами. Вы такие хорошие люди: трудолюбивые, интеллигентные, добрые, настоящие советские люди. И так любите друг друга!.. Так любите, что мы просто не в силах вас разлучать… А у нас приказ арестовывать по второму разу. Поэтому уезжайте как можно быстрее и как можно подальше и… мы ничего не знаем. Всего вам доброго.

Мы от души их поблагодарили, что нас не арестовали по второму разу. Собрали в узелок свои вещички и поехали на Волгу повидать маму, сестру Лику и двоюродного брата Яшу.

В день приезда Валя сразу пошел в облоно насчет работы. Если б ему там дали назначение, мы бы поехали в очередной медвежий угол и там спокойно жили до первого сентября — начала занятий в школе.

Но облоно еще, видимо, надеялось, что для медвежьих углов в последний момент явятся более достойные кандидатуры, а не бывшие политические заключенные с паршивым паспортом.

Требовалось где-то прожить два — два с половиной месяца, а у нас уже не было денег (отпускные ушли на переезд). Родные и сами нуждались и не могли нам помочь. Устроили срочное совещание. И тогда мой двоюродный брат Яша, страстный рыболов, предложил следующее:

— Завезу я вас на один островок на Волге, поставлю вам палатку. На острове же не требуется никакой прописки, черт бы их всех побрал? Свежей рыбой я вас обеспечу хоть круглый год. А тетя Маша и Лика будут привозить вам хлеб, картошку, пшено и

книги. Вот и выход из положения, и еще даже чудесно отдохнете.

Предложение было с восторгом принято и во избежание неприятностей тут же приведено в исполнение, благо, что у Яши имелась своя моторная лодка.

Палатка была превосходная, на двоих. Утеплили ее старыми одеялами и сверху еще покрыли брезентом.

Мама приезжала через день навестить нас и привезти каких-нибудь пирожков или ягоды, картошки. Сестра и брат приезжали обычно вечером, ну и конечно, в воскресенье. Когда съезжались мои друзья — все везли передачу (так и называли: «передача», как в тюрьме).

Пожалуй, все было не так уж плохо, если бы не осадок горечи от того, что пребывание на острове вынужденное, словно мы прокаженные.

Палатка стояла на высоком мысу, словно на носу корабля. Мы просыпались рано, сбегали по тропинке вниз и вместо умывания купались в Волге. Затем Валериан разжигал костер, а я готовила завтрак, который служил нам и обедом. На второе либо каша, либо печеная картошка, на третье — чай.

Частенько к ужину приезжал Яша, и мы ели вкусную наваристую уху.

Большей частью мы находились одни, как и полагается на необитаемом острове. Мимо совсем близко проходили волжские пароходы, до нас доносилась музыка, песни, беспечный смех, иногда замечания в наш адрес, вроде:

— Как хорошо отдыхают, аж завидно!

Я никому не завидовала. Почему-то была твердо уверена, что добьюсь в жизни всего, что наметила, сколько бы мне ни мешали.

Однажды в августе в городе был какой-то праздник. Гуляние, музыка, вечером фейерверк. Мы сидели у костра и смотрели на фейерверк. Странное чувство овладело мною — не то гнева, не то презрения к этим малодушным, тупым недалеким существам, которые были моими земляками и позволяли мне сидеть здесь у костра за стенами родного города.

Мой родной город, и я не могу войти в него — изгнанник! Какая возмутительная нелепость.

— Что с тобой, Валя? — спросил беспокойно муж. — Тебе тяжело, что ты не там, не дома? Я усмехнулась.

— Слушай, Валериан, мы с тобой непременно дождемся того дня, когда партия опомнится, наберется сил и скажет правду о своем «мудрейшем тиране». Я бы только хотела одного, чтобы он не скончался до этого великого часа.

— Ты веришь, что так будет?

— Конечно! Не все же идиотики… В партии зреют могучие

силы, и они еще себя покажут. А что касается меня, я просто писатель, то есть смотрящий вперед. В родном городе еще будут меня любить, ценить и чествовать по заслугам — меня это нисколько не удивит. Настанет время, и мои земляки будут встречать меня с цветами и с уважением слушать, что я им буду говорить.

Муж смотрел на меня с любопытством.

— Ты действительно так думаешь?

— Разумеется.

Настало 1 сентября, а облоно все тянуло с назначением Валериана. Ударили холода. Мы спасались тем, что, затушив костер, засыпали в палатку горячий песок, застилали одеялами и спали до утра, как на горячей печке. Помню, 10 сентября мы сидели у костра, а кто-то проезжал на моторке мимо и над водной гладью раздался удивленный женский голосок:

— Вася, Вася, смотри, а те, в палатке, все еще живут!

— Не замерзли еще?!

В воскресенье к нам приехали мои друзья — муж и жена Петровы. Это Таисия Константиновна, которая посылала мне посылки, подписываясь: «от тети Таси и Сергея Ивановича».

— Что я вам посоветую, — сказал он нам, — хватит вам скитаться по медвежьим углам… Вижу, Валя больше не может. Знаю, знаю, но есть город, где вас пропишут и с этими паспортами.

— Какой?

— Караганда.

— Рядом с Карлагом?

— Это город, где много интеллигенции…

— Но у нас нет даже на билет… — произнесла я неуверенно.

— Я дам вам взаймы шестьсот… нет, семьсот рублей. Хватит, чтоб доехать и устроиться на работу. Учителя там нужны… Я на всякий случай запросил, — он протянул нам ответ облоно на запрос Валериана Георгиевича Петринского.

Так мы снова очутились в Караганде, в полсотне километров от Карлага.

Остановились мы в семье Лии Львовны Морской — подруги моей знакомой Гамледи, режиссера цирка.

Приняли нас очень приветливо, поместили в отдельной комнатке, угостили, чем могли. Вечером долго разговаривали и как-то сразу сдружились. Меня и Валериана особенно заинтересовал и как-то по-человечески нам понравился муж Лии Львовны — Эрих Оттович. Он был не русский, немец — чистокровный германец, родом из Рура (отец, и дед, и прадед его были шахтерами). Он был коммунистом, активным борцом

против фашизма. Когда гестапо стало усиленно разыскивать его, подпольная Коммунистическая партия Германии переправила его в Москву. В Москве он работал в Коминтерне, потом на каком-то высоком посту, женился на еврейке, артистке эстрады Лие Морской. Когда началась война, Эриха Оттовича с русскими немцами сослали в Казахстан.

Ссыльных немцев из партии не исключали… Эрих Оттович нашел это нелогичным. Он пришел в Карагандинский обком, высказал первому секретарю свое мнение на этот счет и положил свой партбилет на стол, заявил, что придет за ним, когда кончится его незаслуженная ссылка.

Секретарь обкома пришел в ярость и заявил, что свой партбилет он больше никогда не увидит.

Этой ночью упрямого немца арестовали, дали ему пять лет и отправили, бывшего шахтера, на угольные шахты Караганды, где он и проработал все пять лет.

Лия Львовна эти пять лет преподавала в школе русский язык и литературу и воспитывала двух своих девочек: Аэлиту, от первого брака, и Светлану — дочь Эриха Оттовича.

Выйдя из лагеря, он тотчас поступил на угольные шахты мастером. Через некоторое время они купили себе дом, сделали к нему множество пристроек для кроликов, кур, поросят.

Мы с Валей отправились в облоно, где нам предложили школу в райцентре, но… в такой глубинке, что там, кажется, и русский язык не знают.

Когда я пришла в ужас, меня успокоили, что там есть ссыльные немцы, как раз мои земляки из Саратовской области — из республики немцев Поволжья. Инспектор нас уговаривал немедленно взять аванс и выехать завтра утречком.

— Вы только подумайте: на всю школу всего шесть учителей, наберете себе столько часов, сколько хотите.

— Валериан один на все десять классов филолог. А я могу и математику, и физику, и черчение и что еще захочу, хоть химию, хоть генетику? — подсказала я.

— Что захотите.

Мы обещали подумать до утра. Пришли домой к друзьям обескураженные.

Лия Львовна приготовила нам сюрприз.

— Я же представляла, что именно предложит вам облоно, и сходила к знакомому завгороно. Вот что я для вас добилась: всего пятьдесят километров от Караганды. Северо-западнее ГРП, то есть геолого-разведочной партии, там школа-семилетка. Уже идет учебный год, а бедным ребятам преподают лишь казахский и английский языки. Родители зовут школу курсами иностранных

языков. Еще не поздно — идите за назначением.

Мы успели под конец рабочего дня. Валериан получил назначение на должность преподавателя русского языка и литературы, а я — математики и физики в трех классах.

Вечером мы распили бутылочку шампанского, а утром выехали автобусом в Северо-Западное ГРП… Оно находилось от Долинки, «столицы Карлага», в пяти километрах — от опытной станции, где мы провели последний год и стали мужем и женой с благословения всех окружающих, в том числе и начальника лагеря.

Нас ждала в ГРП квартира из двух комнат, куда нас отвел повеселевший директор школы Жангасим Баянович Койшибаев.

Директор преподавал географию, жена его казахский язык. Профессиональные учительницы были лишь в младших классах, в старших (пятом, шестом, седьмом) преподавали ссыльные немцы. За наши предметы они не брались.

Мы телеграфировали домой в Саратов адрес и написали письмо. Я своим родным — на Волгу, Валя своим — на Украину. Скоро получили ответы. Сергей Иванович с Таисенькой писали, чтоб мы не вздумали из первой зарплаты слать долг. Они подождут до Нового года. «Тогда по частям высылайте, а пока попитайтесь».

Мы от души поблагодарили и почти на всю первую зарплату купили приемник (телевизоров тогда еще не было).

В Долинке была очень хорошая библиотека, кино — три-четыре фильма в неделю, а то и пять.

Потекли, помчались уплотненные до краев дни. Через два месяца у меня во всех трех классах была сплошная успеваемость, а еще через пару месяцев исчезли и тройки. Только четверки и пятерки. В облоно всполошились: конечно, завышает отметки. В нашу школу зачастили инспекторы-математики.

Я медленно вела инспектора в седьмой класс, но все же не успела: они как раз пересаживались, командовал бывший хулиган Петька Быков, мой любимый ученик. Он орал способным математикам Феликсу Думлеру и Ване Иванову:

— Садитесь на первую парту, будете подсказывать Валентине Михайловне в случае чего…

— Гм! — промычал Шерлок Холмс, как я за глаза звала этого инспектора облоно.

Он дал мне объяснить новый материал. По счастью, подсказывать не пришлось. Я предложила желающим повторять новую теорему, которую я им только что объяснила. Все до одного подняли руки. Вышедшие к доске ребята ориентировались в новом материале ничуть не хуже меня. Инспектор не выдержал

— предложил мне отдохнуть на последней парте и сам стал вызывать ребят. Буквально все доказали теорему на пять.

Следующий урок был тоже мой, и инспектор стал решать с ребятами задачи… Хорошо, что не со мной, я бы ни одной не решила. Но ребята быстренько справились со всеми.

В перемену в учительской инспектор спросил, какими методами я этого достигла.

Я объяснила, что просто мне попались гениальные ребята.

Узнав, что у меня нет никакого математического образования, он стал убеждать меня учиться заочно в педагогическом на математическом факультете.

— Какой из меня педагог? — буркнула я.

И тогда он возопил:

— Вы педагог божьей милостью!

— Она в интернат каждый вечер бегает заниматься с ребятами математикой, — сказала учительница второго класса Макарова.

— Какой там математикой! — не выдержал Жангасим Баянович. — Она же им рассказывает байки… — (Ох, опять это слово «байки» — как Решетняк в лагере.)

Но в этом и была причина сплошной успеваемости. К ребятам я ходила по вечерам в интернат и рассказывала им Диккенса, Жюля Верна, Стивенсона, Коллинза, Дюма и т. п. Если в этот день была хоть одна двойка, я не приходила, как ни просили. Потом двойку заменили на тройку. Они были согласны.

Но я им честно рассказала, что я писатель, а не учитель математики, что мне надо перед сном самой выучить материал, нарешать задач, что мне дается с превеликим трудом. А я прихожу домой такая усталая, что ничего не соображаю.

Дети, жившие дома, тоже стали приходить в интернат слушать, и Петя Быков внес предложение: помогать мне учить уроки на завтра, а заодно согласились их учить — чего терять время — и нарешать мне задач и объяснить их мне.

В общем, они взяли надо мной шефство.

Результат — сплошные пятерки. Экзамены весной по математике все сдали блестяще (я из экзаменационных задач не решила ни одной).

Дети очень любили меня, а я так же сердечно и глубоко любила своих учеников. Родители тоже все были нами довольны — и мужем и мной.

А потом произошел следующий случай.

Надо сказать, что у нас был очень дружный коллектив, за исключением одного человека — Макаровой.

Это была еще молодая женщина лет тридцати, крайне грубая,

сварливая, неразвитая, тупая, но полная самомнения. Будучи учительницей второго класса, она вела себя как завуч — даже более того, командовала и директором.

Приходила на уроки других учителей, топоча сапогами, проходила через весь класс и при учениках во время уроков делала глупейшие замечания учителю. И все терпели, даже директор. Все явно ее боялись.

Конечно, не с моим характером было это стерпеть, и я принялась ее одергивать, к великому удовольствию учителей и ужасу директора Койшибаева.

Когда она пожаловала на уроки ко мне, я ее просто выставила вон.

Был конец апреля, и в клубе Северо-Западного ГРП геологи и буровики собрались совместно со школой отметить Первое мая. Жангасим Баянович со своей женой и мы с Валей сидели в четвертом ряду. Праздничное заседание открыл замполит ГРП. Он прочел состав президиума (от школы в него входила Макарова), все единогласно проголосовали «за».

И тогда (по маминому выражению) «на мне черт поохал».

— У меня вопрос, — заявила я.

— Какие сейчас могут быть вопросы? — недовольно буркнул замполит. — Вопросы потом.

— Но у меня к составу президиума.

— Хорошо, слушаю.

— Вы от ГРП выдвигаете в президиум лучших или худших? — полюбопытствовала я.

— Какой нелепый вопрос, конечно, лучших!

— А почему от школы — самую плохую учительницу? У нее сплошная неуспеваемость…

Замполит ехидно усмехнулся:

— Может, вы хотели бы, чтобы вас избрали в президиум?

Не забывайте, еще не реабилитированная, с неснятой судимостью. Но «на мне ехал черт».

— А почему бы и нет? — Я обернулась к присутствующим: — Товарищи родители, вы знаете, у меня детей нет, я целиком отдаю себя вашим детям — они это понимают, спасибо им. Но если вы сейчас не выберете меня в президиум, обязуюсь с завтрашнего дня работать как Макарова.

И я села; и директор и Валя сидела ошеломленные… Родители, что называется, обалдели.

И тогда поднялся один из геологов.

— Я выступаю как родитель (я точно знала, что у него двухмесячные близнецы), предлагаю избрать в президиум вместо Макаровой товарища Петринскую. Ведь она… — и он произнес

несколько лестных слов обо мне как родитель.

— Голосуйте! — раздались голоса.

— Ставьте на голосование! — во всю глотку орал знакомый буровик, бывший «вор в законе». Уголовники всегда относились ко мне с уважением. Короче, меня избрали единогласно вместо Макаровой от школы.

Я торжественно прошла на сцену, столкнувшись с Макаровой. Смотрела она на меня не то чтобы неласково, это был взгляд убийцы.

Все притихли, испуганные за меня.

Я в чудесном настроении поглядывала со сцены на всех, не понимала, какого дьявола они все так боятся этой дурехи.

— Ну, Валька, ты выдаешь, со мной чуть инфаркт не приключился, — заметил мне дома муж.

А директор тем же вечером серьезно со мной поговорил. Зазвал к себе на квартиру. Шестеро его ребят уже спали. Жена поставила передо мной подсоленный чай с молоком и сливочным маслом, который я кое-как осилила.

— Эх, Валентина Михайловна, она же посадит и вас и Валериана Георгиевича. Ох, что я сразу не предупредил вас! Эх! — И он открыл мне потрясающую тайну. Галина Макарова была сексотом. Он это знал, и все в ГРП, так как в день приезда агента НКВД замполит услужливо уступал им для беседы свой кабинет.

— Я коммунист, я хозяин страны, — плакался он мне, — но я ее боюсь, потому что ей ничего не стоит обрехать что угодно, а у меня шестеро ребятишек. А вас она просто проглотит обоих.

— Жангасим Баянович, разрешите мне завтра не выходить на работу. Мне давно следовало съездить к врачу.

Он немного удивился, но отпустил беспрекословно. Валя решил, что я хочу походить по магазинам… Я его не разуверяла.

Отправилась я утром автобусом, прямехонько к серому дому НКВД.

Часа полтора я добивалась пропуска с начальнику, пока не рассердилась и не заявила, что, если в ближайшие десять минут начальник не примет, я уеду, и они не узнают ничего.

Это подействовало, мои слова передали, и пропуск был выписан.

Начальник НКВД города Караганды оказался русским, на вид довольно симпатичным человеком лет под пятьдесят.

— Что случилось в Северо-Западном ГРП? — спросил генерал.

Тогда я села напротив него и рассказала коротко, но ярко и выразительно обо всем. В заключение я сказала:

— Думаю, что необходимость иметь в этой школе-интернате сексота диктуется главным образом из-за меня и моего мужа. В младших классах профессиональные учителя, ссыльные немцы, — все коммунисты, а вот мы еще не реабилитированы, не снята судимость, но нам доверили такое важное дело, как воспитание детей… Я все понимаю, но… но не приставляйте же к нам явную дуреху, которая своей дуростью терроризирует всю школу. Пожалуйста, очень вас прошу, приставьте к нам сексота умного, честного и правдивого. Вот и всё, за чем я к вам пришла.

Высказавшись, я облегченно вздохнула и стала ждать ответа.

Начальник НКВД как-то странно и долго смотрел на меня.

— Сколько лет вы были в заключении? — переспросил он.

— Девять.

— Да-а… представляю, сколько вы пережили за эти девять лет. И все же не утеряли веры в людей… Настолько, что способны прийти к начальнику НКВД просить заменить сексота на более умного и честного… Дело не в сексоте, но… но вы меня тронули до глубины души. Я работаю в органах более четверти века, но никогда не сталкивался, не слышал даже ни о чем подобном…

Он помолчал.

— Спасибо вам. — (Он меня благодарит, за что?) — Поступим так. Передайте директору школы, чтоб он больше этой особы не боялся и спокойно работал. Больше вам не будут мешать. Ну, а насчет этой Макаровой… Либо она действительно дура, либо здесь что-нибудь похуже.

— Да нет здесь ничего похуже! — воскликнула я с досадой. — И все-то вам мерещится… Просто она дуреха и, восприняв это поручение как знак некой власти над людьми, опьянела от сознания этой своей власти… Спасибо вам большое.

Я поднялась. Он проводил меня до дверей и еще раз заверил, что мы можем отныне работать спокойно.

О своем визите я рассказала всему педколлективу. Все ахали, охали и смеялись до слез. Галина стала тихоней. Педколлектив явно наблюдал друг за другом: нет ли замены. Но о нас как будто забыли.

Летом мы с Валей совершали далекие прогулки, много читали. Я написала несколько рассказов. Один рассказ о буровике, бывшем воре, я решила предложить в областную газету Караганды.

Редактор принял меня приветливо, прикинул, что рассказ подвала на два, тут же его прочел. Рассказ ему явно понравился.

Он поинтересовался, по какой статье я сидела. Я коротко рассказала о себе.

— В Караганде живет несколько хороших московских

журналистов и писателей с «минус 39» в паспорте, — сказал редактор. — Мы их печатаем. Идем навстречу людям. Когда я даю свою фамилию, когда заместитель или секретарь редакции. Гонорар, конечно, пополам. Не обижаем их. Под ваш рассказ я могу дать свое имя.

Я с удовольствием разглядывала этого редкостного мерзавца. Потом встала и, вырвав, не без усилия, рассказ из его цепких пальцев, спрятала его в сумку.

— Те писатели, о которых вы говорили, мужчины? — поинтересовалась я.

— Да, вы первая женщина, и такая талантливая.

— Спасибо за комплимент. Если бы я была мужчиной, то набила бы вам морду. Желаю вам всего самого плохого!

И я ушла из редакции.

В Дагестане меня печатали под моим именем. В «Кировоградской правде» тоже, да им еще приходилось переводить на украинский язык. В Саратове, когда мы жили в селе Александров Гай — на границе с Казахстаном, саратовская газета «Коммунист» напечатала мой очерк «Степные табуны». Очерк удался. Понравился всем в области. Один из саратовских поэтов Тимохин долго раздумывал, откуда в Алгае взялась В. Петринская. Ой отправился к нашей соседке, вдове писателя, и от нее узнал, что Валентина Мухина замужем за В. Петринским и сейчас они живут в Алгае.

Тимохин сразу доложил редактору.

Уже набранный следующий очерк «Трактористы» рассыпали, и меня больше не печатали.

Рассказов у меня набралось бы на довольно увесистый томик, но… меня нигде не печатали.

Меня арестовали, когда я была, в сущности, начинающим писателем. Но теперь мне уже было сорок три года, а я, выходит, все еще начинающий писатель.

К осени от таких раздумий я впервые в жизни пала духом. В результате этой же осенью, кажется, в ноябре, пустяшный грипп — и температура-то всего 37,2 градуса — вызвал грозное осложнение — воспаление почек.

Болела я очень тяжко. Больница в Долинке не помогла. Муж отвез меня в Караганду, в клинику при мединституте.

Мне становилось все хуже и хуже. В марте 1953 года, когда муж в очередной раз навестил меня, врачи предупредили его:

— Ваша жена умирает.

— Неужели нельзя спасти?

— Медицина бессильна, почки отказываются работать.

Итак, я умирала. В день рождения моего, 7 февраля, мне

исполнилось сорок четыре года… Жизнь не состоялась. Это ясно. Странная, страшная эпоха, в которую сначала у меня отняли человека, которого я любила. Затем у меня отняли радость творчества, возможную славу (известность, во всяком случае). Возложили на мои плечи на всю жизнь бремя нелюбимого труда. Я уже не говорю — тюрьма, десять лет заключения, последующие скитания. Спасибо, что у меня хоть есть мой добрый, ласковый муж. Без Валериана я давно бы умерла.

А писателем я, выходит, так и не стану? Меня остановили, когда я была начинающим писателем. Но не могу же я в сорок четыре года называться начинающим писателем. И вот я умирала потому, что мне не дали жить, как я хочу и могу. Только как могу.

Моим лечащим врачом была Нина Владимировна, двадцати восьми лет, умница большая.

О смерти Сталина сразу не объявили. Сначала сказали по радио, будто он болен тем-то и тем-то.

Меня словно молния ударила. Я схватила Нину Владимировну за руку:

— Доктор… Ради всего святого… при этом состоянии можно еще поправиться или… это уже… все? Она вырвала руку.

— Не смею сказать, — и убежала.

А затем мы узнали о его смерти.

Потрясение было такое, будто солнце внезапно осветило глубокую полярную ночь.

Радость? Разве бывает такая огромная, такая потрясающая, яркая, лучезарная, прекрасная радость. Я стремительно отвернулась к стене, натянула одеяло на голову. Мне надо было остаться одной. Обдумать, что будет дальше без этого тирана.

Партия слишком дорого, лучшими сынами заплатила за то, что не послушалась Ленина и допустила этого мерзавца к власти. Значит, теперь НИКОГДА такую ошибку уже не повторят.

Будет всё по-иному. Конечно, жаль, что Сталин умер своей смертью, а не судили его всенародно и не повесили на Красной площади, как мне хотелось. Но… слишком много я хотела от своих сограждан.

Счастье в том, что его уже нет.

Я стала представлять, как же теперь будет, после его смерти, всё перестроят.

Будет, конечно, свобода слова (так я называла гласность). Вообще я всё представила, как при Горбачеве, но не в восьмидесятых годах, когда только начинали, а примерно год 2000–2010-й, как я потом описала в «Планете Харис».

Дальше начались поразительные вещи: я стала поправляться не по дням, а по часам. Потрясенная Нина Владимировна просила

у меня разрешения брать анализы каждый час. Каждый анализ показывал явное, стремительное улучшение.

Через десять дней это были анализы совершенно здорового человека.

Прощаясь при выписке со мной, Нина Владимировна сказала:

— Я мечтаю написать диссертацию о влиянии радостных эмоций на излечение человека. Буду собирать материал на эту тему.

Комиссия ВТЭК дала мне освобождение от работы на полгода и посоветовала непременно уехать из Казахстана, так как этот климат не для меня. Мы уехали обратно в Саратов.

Назначение в облоно получили сразу…

Сутки побыли у мамы и сестры и выехали на автобусе в наш район. Пока Валериан оформлялся в районе, я зашла в райком переговорить с секретарем. Первый был на курорте, говорила со вторым. И неожиданно получила назначение завклубом в то же самое село.

Нас заверили, что квартира имеется. Однако по прибытии в село (располагалось оно среди дивно прекрасной природы) я от этой «квартиры» наотрез отказалась. Мы должны были жить в одной комнате с колхозницей и ее тремя малолетними детьми. Квартиру я нашла сама у секретаря сельсовета, которая отродясь к себе никого не пускала, даже командировочных на одни-двое суток, но нас она почему-то пустила. И мы даже очень подружились.

Валериан, как всегда, пошел знакомиться с директором школы, а я — представляться как завклубом председателю сельсовета товарищу Рыжову. При виде моего назначения Рыжов застонал и стал дико скрести себе затылок.

— Что с вами? — обеспокоилась я.

— Да вы знаете, что значит наше село Табурище? Это же бандитское село! Первое по преступности в Саратовской области, теперешний заведующий избой-читальней…

— Клубом?

— Пусть клубом, если вам так больше нравится, лежит в больнице, избитый бандитами за то, что попытался… почитать им газеты. Подал заявление об увольнении по собственному желанию. А они вас, женщину… о боже! Бан-ди-ты, понимаете? Не советую браться за эту работу.

— И бандиты, и воры, вообще все уголовники очень хорошо ко мне относились, — возразила я. Рыжов опять застонал:

— Боже праведный! Ох! Ах!..

— Покажите мне избу-читальню, — потребовала я. Клуб оказался настолько запущенным, настолько грязным, что я

всецело одобрила избиение избача.

Никакая не изба! Самый настоящий, довольно большой клуб, на высоком фундаменте.

— А девушки тоже у вас бывают? — полюбопытствовала я.

— И девушки такие же.

— Кто же у них лидер?

— Клава Дезкова.

— Спасибо. Где она живет?

— Ребятишки отведут.

С помощью этой Клавы и ее подружек мы отмыли до чистоты клуб, затем я украсила его.

В чемодане у меня были отрезы на тюлевые гардины — повесила их в клубе. Из «Огонька» (пересмотрела его за несколько лет) вырезала репродукции картин лучших русских художников. Купила на свои деньги толстую цветную бумагу, наклеила на нее репродукции, развесила по стенам. Для начала выпустила стенгазету, которую пришлось делать от начала до конца самой, так как пока никто участвовать в этом не захотел.

На открытие клуба пригласила гармониста, парторганизацию и всю молодежь села. Собрались аккуратно в назначенное время.

Парни явно с бандитскими лицами, выпущенным из-под фуражек чубом, заходя, удивлялись:

— У нас отродясь не было так чисто и уютно, хорошо!

Молодежь, к великому удивлению парторга, встретила нового избача овациями. Они уже все знали, что я отсидела девять лет, что были в моей жизни и Колыма, и лесоповал.

— Начала она хорошо, посмотрим, как будет работать, — решил парторг.

На другой день утром я съездила в райцентр. Серьезно поговорила со вторым секретарем райкома и директором школы.

— Хватит поставлять преступников на целую область, надо приохотить их, может быть, к науке.

Табурище от райцентра было километров тридцать. Туда я добиралась где пешком, где на попутных грузовиках. Оттуда возвращалась на райкомовской машине, рядом сидел пожилой мужчина, физик. Мы везли несколько интересных приборов для демонстрации лекции «Физика в науке и в быту». Восхищенные парни вопили: «Вот это фокусы! Вот это у нас избач!» Физика чуть не оглушили аплодисментами.

Затем приехал молодой историк и прочел лекцию о допетровской Руси. Упор я попросила сделать на Ивана Четвертого. Парни вопили: «Вот гад! Повесить бы его, подлюгу, на Красной площади!»

Говорил историк очень интересно, все заслушались,

аплодисменты были громоподобные.

Третью лекцию я читала сама. О Лемешеве. Рядом стоял патефон и лежала груда пластинок с песнями Лемешева.

Биография Лемешева всех заинтересовала, песни понравились; кроме аплодисментов, меня еще целовали, что не очень понравилось моему мужу.

Так у меня пошло: то интересные лекции учителей или врачей или мои собственные об искусстве. Помощник — патефон.

Пластинки одалживала в райцентре. В промежутках между лекциями — танцы. Танец был один и тот же — цыганочка, под которую плясали наши воровки в лагере. Это была какая-то бесконечная унылая, мрачная, безысходная цыганочка под однообразные тягучие звуки баяна. Танцевали час, другой, третий. Они могли эту мрачную псевдоцыганочку танцевать хоть всю ночь. Но обычно через час-полтора я говорила:

— Не устали, ребята? Я такой интересный очерк в газете для вас отложила. — И читала им очерк на любую тему, а они терпеливо слушали.

Авторитет у меня был большой здесь. Но каким-то образом вернувшемуся с курорта первому секретарю райкома стало известно, что избач, о котором столько разговоров, сидела в лагере девять лет… по статье 58!

Говорят, что скандал между двумя секретарями был ужасный.

После чего первый секретарь приехал в Табурище и стал собирать обо мне сведения.

Все, начиная с парторга и председателя сельсовета и кончая трактористами, уверяли, что у них такого избача отродясь не было и вряд ли когда будет. Расхваливали так, что первый чуть зубами не скрежетал. И вдруг как гром среди ясного неба: меня снимают с работы, как не имеющую специального образования. А на мое место назначили молодого человека, окончившего подходящий техникум.

Это был очень симпатичный молодой человек, и я от души сокрушалась, когда его избили и пришлось отправить в больницу в Саратов.

Клуб был на замке, так как завклубом лежал в больнице.

К кому-то в райкоме приехал в отпуск сын-моряк, его тоже избили ни за что ни про что.

В Табурище начались пьяные драки, поножовщина… Несколько трактористов после посевной вообще уехали куда-то. Вечерами под гармонь все уныло танцевали безрадостную свою цыганочку.

В это майское утро я проснулась как всегда. Проводила мужа в школу. Стала готовить обед.

Почему-то мне вспомнилась встреча с Бруно Ясенским во Владивостоке. Точнее сказать, в пересыльном лагере на Черной речке. Работать там не заставляли (работали лишь те, кто жил в этом лагере постоянно), и случалось беседовать часами на берегу Японского моря. Лагерь был как бы на пригорке, внизу за оградой белело шоссе, и вот по этому раскаленному шоссе день и ночь шли заключенные на пароходы, идущие на Колыму. Их вели солдаты с автоматами и овчарками.

В тот день несколько человек окружили Бруно Ясенского — среди них была и я. Он беседовал с нами. Уж не помню о чем. А потом прозвучал гонг к обеду, и все ушли. Мы с ним стояли и смотрели на идущих по шоссе…

— Идут и идут… день за днем… сотни, тысячи, — сказал Бруно Ясенский. Его худое, измученное лицо выразило страдание.

— И столько же разбитых семей, — сказала я. Бруно вдруг стал рассказывать о своем сынишке десяти (или двенадцати?) лет и о том, что его единственный сын сейчас находится в детдоме, где ему, конечно, очень плохо…

— Леонид Леонов всегда говорил, что я его единственный и лучший друг, о том, как он меня любит, как привязан ко мне. В Переделкино наши дачи стояли по соседству. Мы сделали в заборе калитку, чтоб скорее попадать друг к другу. Леонид писал как раз роман «Дорога на океан» и каждый вечер шел ко мне через эту калитку и читал вслух что он написал за день. Мы за чаем обсуждали написанное. У него нет сына… только дочурка. Если бы его посадили, его жену, я бы никогда не допустил его девочку до детдома. Ведь друг… настоящий друг — это даже больше, чем брат.

Бруно Ясенский долго горько молчал. Потом мы пошли.

Внезапно он остановился и процитировал мне эпиграф к «Заговору равнодушных»:

> Не бойся врагов —
> в худшем случае они могут только убить.
> Не бойся друзей —
> в худшем случае они могут только предать.
> Бойся равнодушных —
> они не убивают и не предают,
> но только с их молчаливого согласия
> вершится в мире и предательство и убийство.

Мы посмотрели на шоссе. Осколки разбитых семей… Они всё шли, и шли, и шли…

— Неужели ничто, никто не может остановить вот это?.. —

воскликнула я в отчаянии.

И тогда Бруно Ясенский сказал тихо, но очень четко:

— Только долгие гудки.

Когда началась эпидемия брюшного тифа, он скончался одним из первых. Пятнадцать лет прошло с того дня, но его аскетическое лицо все стояло передо мною…

Что ж, долгие гудки прогудели. Виновных всех этих бед нет на свете, а я все хожу по мукам. Почему меня не печатают? Почему мне не дают быть тем, кем я родилась, — писателем…

Ну, хватит, больше я не могу!

Я выключила суп и побежала в контору, узнать, не идет ли в Саратов машина. Она шла. Договорилась, что без меня не уедут и так же бегом в школу. Вызвала Валериана с урока.

— Валя, мое терпение кончилось — всё! Понимаешь? Еду в Саратов, хочу серьезно поговорить с начальником КГБ.

— О господи! Только не наговори лишнего, — взмолился Валериан.

— Там и без лишнего хватит что говорить.

Я расцеловала мужа и побежала к машине. В кабине с шофером восседала толстая жена председателя колхоза, и мне пришлось вскарабкаться на грузовую машину поверх каких-то мешков и бочек.

Дорогой, едва удерживаясь, чтоб не вывалиться из кузова, я вспомнила другого писателя. Это был московский известный писатель, но он был совершенно сломлен морально. Он панически боялся и угодничал перед бригадиром, боялся уголовников, и те презирали его за трусость. Сломали его волю навсегда, как я поняла, еще на допросе, когда ему достался подленький следователь, который измывался над ним.

Я дала себе слово, что забуду имя этого писателя, чтоб не опозорить его, и так внушила себе — забыть, что и вправду забыла, ни имя, ни фамилию не помню. Дорогой я подумала о нем и внутренне разбушевалась.

К окошку КГБ я подошла злая-презлая.

Надо отметить, что всю мою жизнь, стоит мне разозлиться, и я всего добиваюсь. Родные и муж даже шутили: «А ты разозлись!» К сожалению, я не могу искусственно вызывать это состояние, чаще нападает ни к селу ни к городу смех.

Но в этот день у меня действительно лопнуло терпение. Меньше чем за час я добилась, что начальник КГБ генерал Соколов согласился принять меня, и мне выписали пропуск.

Только я уселась напротив генерала, как он спросил довольно обеспокоено:

— Что случилось в Табурище?

— Не в Табурище, а в России…

Он уселся поудобнее, и я стала рассказывать о себе в третьем лице.

В общем, вроде того: «Жила-была на Волге талантливая девушка» и т. д.

— Это вы о себе, что ли? — перебил Соколов.

— О себе, — вздохнула я.

— Тогда говорите от первого лица, а то лишь путаете меня.

Я рассказала ему всё, что положено было ему знать, чтоб быть в ответе за погибающего писателя.

Как я не спала первую ночь в лагере, обдумывая, как мне сохранить в тех условиях свой талант и себя как личность. Как я к утру поняла: надо смотреть на лагерь как на творческую командировку, — и как месяцев за семь добилась этого сполна. Как, чтоб не утерять стиля, я — прозаик — писала стихи на фанерке и читала их в бараке настоящим литературным критикам. Как я девять лет изучала психологию людей, пытаясь проникнуть в самые ее глубины. А для упражнения в сюжете и фабуле выдумывала романы и рассказывала их вечерами. Как я, к великому негодованию некоторых начальников лагеря, соблюдала свое достоинство. И что мне за всю мою жизнь никогда не понадобилось и не понадобится выдавливать из себя по каплям раба, так как отродясь ничего рабского во мне не было.

— Если вы думаете, что мне это довольно легко, вы глубоко ошибаетесь, — сказала я, — в заключении дорого я за это платила. И что же? Столько лет я вроде на свободе… и Сталина уже нет… А меня всё не печатают. А годы идут. Мне уже… Мне уже сорок пять лет, черт побери! Да вы мне верите?

И он ответил очень серьезно:

— Верю каждому вашему слову.

Я обрадовалась.

— Что же мы теперь будем делать?

Соколов невольно улыбнулся.

— Надо реабилитироваться. — Он вызвал секретаршу и приказал ей помочь мне заполнить анкету. — В Саратове есть где пожить? — осведомился он.

— Есть. У мамы. Но…

— Знаю. Сошлитесь на меня и живите спокойно. Наверное, придется вас вызывать.

Вызвали через двадцать дней. Я думала, на допрос или там на личную ставку. Но оказалось, что генерал Соколов поздравил меня с полной реабилитацией.

— Конечно, мы не можем вам вернуть потерянных лет и утраченного здоровья, — сказал он, пожимая мне руку. — Могу

только просить прощения за своих бывших товарищей. Можете прямо отсюда идти в обком за партбилетом.

Я всплеснула руками — уже и партбилет! Хотя арестовали меня беспартийной, но вообще это правильно. Я уверена, что все эти тяжелые годы я поступала именно как настоящий писатель-коммунист. И даже однажды сама приняла себя в партию в присутствии двух старых большевичек, двух воровок и одной спекулянтки.

Генерал, что называется, открыл рот.

— А разве вы не были членом партии?

— Тогда — нет.

— Ну тогда не идите в обком, конечно.

— А-а… жаль. Вообще спасибо вам, очень вы быстро это всё провернули. Соколов усмехнулся.

— Вы до того меня тогда заинтересовали вашим рассказом от третьего лица, что, как только вы ушли, я тут же затребовал ваше дело… Прочел его и пришел в ужас. Они даже не дали себе труда придумать факты, пусть ложные. Одни голословные обвинения. Реставрация капитализма методом террора и диверсии, и всё, — дальше фамилии. Я тут же оформил всё, что надо для вашей реабилитации, и отослал в Москву. Вчера получили постановление о реабилитации, и я вызвал вас.

Я вспомнила слова Щенникова, что он нарочно не выдумал никаких фактов (а начальство не заметило) и что мне это очень пригодится при реабилитации.

Из КГБ, по дороге домой, я зашла в союз писателей и заявила, что меня только что реабилитировали.

Ответственный секретарь Саратовского отделения СП Борис Озерный вместо ожидаемого поздравления поинтересовался, сколько мне лет? Узнав, что уже сорок пять, удивленно высказался:

— Не кажется ли вам, что начинать жизнь заново в сорок пять лет несколько поздновато?

— Что за чушь?! — взорвалась я. — Начинать жизнь заново не поздно в любом возрасте, хоть в восемьдесят лет. Другое дело, сколько лет ты проживешь и успеешь ли добиться всего, что себе запланировал. Но если проживешь лет пятнадцать-двадцать — то всего добьешься.

На этом я ушла, провожаемая скептическим взглядом своего бывшего товарища.

В редакции газеты «Коммунист» мне сказали еще конкретнее:

— Ну и что из того, что вас реабилитировали? В тюрьме-то вы сидели. Этого никуда не денешь.

Я сорвала с телефона трубку, редактор испуганно

отшатнулся, думал — ударю, но я всего лишь предложила ему позвонить генералу Соколову и повторить свои слова…

— Пусть он знает, что для вас реабилитация — филькина грамота.

Подумав с минуту, я высказала всё, что о нем думаю, и удалилась.

Только дома меня от всей души поздравили, порадовались со мною вместе — купили шампанского и выпили за будущее (Валериан уволился с работы, его не задерживали, и мы переехали в Саратов). У Валериана уже второй год был чистый паспорт, который ему выдали после какого-то постановления. Меня оно не касалось, так как судимость механически снималась лишь до пяти лет, а у меня было гораздо больше.

Итак, ворота родного города открылись перед нами, и мы вошли в его тихие покорные улицы к землякам, которым еще долго предстояло выдавливать из себя по капле рабов и один из которых сказал мне за всех: «В тюрьме-то вы сидели, этого никуда не денешь».

Но я и не собиралась это куда-нибудь девать.

Отнюдь! Я подчеркивала — да, я сидела девять лет, но ведь не я виновата.

Отцов города это бесило. Но это уже другой рассказ.

Когда человек побеждает

Прошло три года после моей реабилитации. Чем они были заполнены? Каждый свободный час я писала. Набралось бы на добрых две книги повестей и рассказов. Но сколько сил и времени уносила нелепейшая борьба за свое место под солнцем. Те, от кого оно зависело, — обком, горком, союз писателей, редакция «Коммунист» и т. п. — упорно держались того мнения, что реабилитация дает мне возможность отдыхать за печкой и помалкивать. «В тюрьме-то вы сидели, этого никуда не денешь».

При встречах я им втолковывала, что меня реабилитировали для того, чтобы я вела самую активную жизнь, какая и подобает советскому писателю и гражданину.

Нас упорно хотели выжить из Саратова. Работы никакой не давали ни мне, ни мужу, в то же время предлагали ему место директора школы в деревне.

Отчаявшись найти что-либо подходящее, я договорилась о работе расклейщицы афиш. Но когда я вышла в назначенный день на работу, мне наотрез отказали под каким-то предлогом. Когда я уходила, меня догнала секретарша и тихонько сообщила, что это обком не велел меня брать на работу.

После этого случая я написала в «Правду» и всё-всё выложила: что не дают мне, реабилитированной, квартиры и никакой работы, чтобы выжить из Саратова, что из родного города я не уеду, но мы с мужем буквально голодаем. Просила их вмешаться и помочь.

Они вмешались. Прислали письмо на имя первого секретаря обкома, а мне — копию.

Они писали, что их очень огорчило мое письмо. Они просили для меня квартиру и работу.

«Если в вашей областной газете «Коммунист» нет ни одной вакансии, подыщите для нее что-либо подходящее, как писателю!»

И они подыскали, не зная, что у меня копия этого письма.

— Идите в книготорг, — сказали мне, — там вас ждет работа подходящая… И мне предложили работу (как недавнему зека?) упаковщицы и грузчицы, оклад триста рублей (теперешних тридцать рублей).

— Это мне не совсем подходит, — сказала я спокойно директору книготорга. — Вы разрешите мне позвонить от вас секретарю обкома?

Он разрешил. Меня соединили с первым секретарем. Я сердечно поблагодарила его за устройство на работу. Сказала, что

не смогу за нее взяться, но сейчас для меня имеется более подходящая вакансия… как раз в издательстве требуется главный редактор.

— Вы мне поможете получить эту работу?

У него, похоже, челюсть отвисла. Он сначала промычал что-то невнятное, затем пообещал это обсудить. Я его поблагодарила и весело положила трубку.

Когда я обо всем этом рассказала мужу, он сначала возмутился, затем от души хохотал.

— А я нашел работу, — сообщил он мне, — хоть весьма скромную, на шестьсот рублей, корректором в издательстве.

— Каким образом?

— Зашел к директору Быстрову, поговорил с ним по душам. Насчет тебя больше говорили. Ему нравится, как ты пишешь, но печатать тебя он не может. Секретарь обкома Лебедев сказал: «Только через мой труп». Быстров сказал всё, что я могу для вас сделать, это дать место корректора. Знаешь, Валя, прекрати поиски работы, только пиши. Как-нибудь проживем на эти шестьсот рублей. Нам ли с тобой бояться трудностей. Отныне ты профессиональный писатель. Работай.

Комнатку мы получили, благодаря помощи Ильи Эренбурга. Я ему написала всё в письме коротко, но, кажется, выразительно.

Меня вызвали к секретарю горкома партии.

— Вы что, знакомы с Ильей Эренбургом?

Я показала ему черновик своего письма Эренбургу, также письмо секретарши о том, что, хотя Илья Григорьевич уезжал на рассвете в Париж на мировой конгресс, где должен выступить, он нашел время продиктовать ей письмо секретарю Саратовского горкома, а меня очень просит сообщить, какой будет результат, что он все равно добьется мне жилья. Что касается отношения братьев писателей, он сказал, что, возможно, это хороший признак. Талант и без помощи победит, если он талант, а, похоже, так оно и есть.

Жаль, письмо секретарши у меня не сохранилось. Затерялось при переездах.

Мне дали комнатку в девять квадратных метров в центре города, на главной улице, на третьем этаже. Обещали в будущем дать лучшую, а пока просили написать Эренбургу: дескать, получила комнату в центре, что я и сделала — восторженно поблагодарила его.

Когда мы стали там жить, восторга поубавилось, но все же я была довольна, что у нас есть хоть эта комната. Наша, своя, и никакая частная хозяйка в нее не войдет с дурацким замечанием.

Но, кроме этой комнаты, которую я обставила с огромной

радостью, все было гадким и отталкивающим, странным.

В доме этом прежде была гостиница «Россия», но в 1937 году ее срочно превратили в жилой дом. Просторные номера поделили пополам, удвоили этим число комнат, двери для этих новых комнат позаимствовали в тюрьме, и поэтому все они оказались с заплаткой посредине, где прежде был глазок. Моя тоже. За тонкой перегородкой жил пенсионер-алкоголик, бывший надзиратель. Каждый день он встречался с «однополчанами», спрашивал:

— Ты мне друг?

— Друг.

— Тогда выпей.

Бывший надзиратель приносил живых раков, и они, ловко находя какие-то щели, переползали ко мне.

Напротив жила алкоголичка, брошенная жена начальника тюрьмы. По другую сторону комнаты была кухня на шестнадцать семейств. Тридцать шесть дам довольно бурного темперамента — обладатели громких визгливых голосов, особенно три из них. Конфликтуя, они приподнимали юбки и показывали друг другу зад. Подкидывали друг другу в щи грязные тряпичные куклы и тому подобное. Единственно, что их вскоре объединило, это острая неприязнь ко мне, не похожей на них.

Чтоб не портить творческое настроение, я отказалась от этой кухни, где мне принадлежала одна из комфорок четырех газовых плит. Стала готовить и стирать у себя в комнатке, пользуясь электроплиткой. Единственное окно выходило во двор. Внизу были какие-то склады, и весь день заезжали грузовики, громко матерились шоферы… Впрочем, заглушая и нецензурную брань, и кухонную склоку, вопили пластинки патефонов. Их владельцы весь день гоняли модную тогда оглушительно громкую «Тишину». Порой казалось, что я нахожусь внутри шумного, разлаженного вконец, фальшивого оркестра.

Мы купили круглый стол и за этим столом посреди этой какофонии я написала роман «Смотрящие вперед», книжку «Гавриш из Катарей» и романы «Плато доктора Черкасова» и «Обсерватория в дюнах».

Все это было напечатано потом… Тогда у меня в Саратове не печатали ни строчки. Все, что я приносила в союз писателей, издательство, либо в газету «Коммунист», объявлялось слабым, бездарным, негодным.

Началась всесоюзная травля Дудинцева. Травили на самом высоком уровне. В Саратове сам первый секретарь обкома, когда ему писали речь, позвонил в местное отделение СП и попросил «пример местного Дудинцева». Долго не раздумывая, братья писатели дали мое имя и название одного из напечатанных моих

рассказов «Коммунист Нестеров».

Москвичи постарше помнят, какая дикая это была травля.

В провинции не отставали. Всюду висели плакаты, не жалели по пять-десять метров полотнищ. «Дудинцев и Мухина-Петринская». Однажды я покупала в киоске «Комсомольскую правду», когда подошел какой-то молодой человек и опросил: нет ли сочинений Мухиной-Петринской?

— Нет.

— Эх, жаль, что нет.

— Так писателя такого даже нет, — возмутилась киоскерша. — Спрашивала и на складе, и в книготорге, нет, говорят, такого писателя на свете.

— Да как же нет, — возмутился парень, — когда я сам слышал, как ее ругал первый секретарь обкома. Приезжал к нам на завод специально ругать Дудинцева и Мухину-Петринскую. А Дудинцев же очень хороший писатель. Я до утра читал его «Не хлебом единым» — потрясающая книга.

— Значит, хорошая писательница? — переспросила я его, усмехаясь.

— Конечно! Ее же ругают по заводам, и по учреждениям, и в университет приезжал секретарь обкома. Вот как заело. Эх, где бы найти ее книги.

А книг не было. Ни одной. А годы шли. В 1957 году, — кажется, это было в апреле — в Саратове состоялось совещание писателей Поволжья. Съехалось гостей со всех городов Волги. А из Москвы прибыло пять крупнейших критиков — не помню ни одной фамилии, но помню, что четверо мужчин и одна женщина. Вот к женщине я и подошла, отозвала ее в сторонку и рассказала вкратце отношение ко мне в Саратове и попросила ее прочесть несколько моих рассказов.

— Вы понимаете, впервые в жизни я усомнилась в себе. Может, и вправду талант, пока я ходила по лагерям, угас? Но им я не верю, ни единому их слову. Вам поверю. Особенно если вы дадите прочесть еще кому-нибудь из ваших товарищей-критиков.

— Я вас поняла, прочтем все. Приходите…

Она сказала, когда приходить на совещание. Но здесь мужество изменило мне… А вдруг и они скажут то же самое.

Часов в пять я вышла из дома и медленно пошла по проспекту Кирова. По дороге к союзу писателей. Совещание как раз кончилось, и многие шли домой по этой улице.

Завидя меня, почти каждый подходил и говорил буквально одно и то же:

— Эх, что же вы не пришли! Получили бы огромное удовольствие, московские критики единогласно заявили, что

ваши рассказы — лучшее, что они прочли у писателей Волги. Эффект был потрясающий.

Критики удивлялись, почему ни один из рассказов Мухиной-Петринской не напечатан.

Действительно, почему?

Из писателей открыто радовались Болдырев и Розанов, а исподтишка, но от всей души, директор издательства Борис Николаевич Быстров.

Он, пока не уехали московские критики, заключил со мной договор на книгу рассказов в двенадцать печатных листов.

Надо отдать справедливость редакторам, а затем типографии — книгу печатали скоростным методом.

В начале декабря был готов сигнальный экземпляр. Я была безмерно счастлива. И тогда грянул гром. Утром прибежал завпроизводством издательства и взволнованно сообщил:

— Набор рассыпан… Чтоб вы не могли бороться, всё уничтожено: и набор и корректура. Мне сообщили рабочие. Скорее бегите к Борису Николаевичу.

Я срывающимся голосом поблагодарила его. Быстров плотно закрыл дверь и с ходу мне посоветовал:

— Обжалуйте меня в ЦК.

— Что я, с ума сошла, вас обжаловать!

— Но не можете же вы жаловаться на обком?

— Почему не могу? Могу.

— Лучше на меня, а я всё им объясню.

— Нет, на вас никогда. Спасибо за сочувствие.

Я сидела за своим круглым столом, под которым успела на гладко выкрашенном полу протереть большое круглое пятно от ног. Я размышляла. Удар был слишком тяжел и коварен — дождались почти готовой книги и… разобрали шрифты.

Приказали разобрать, воспользовались своей властью. Что я им, собственно, сделала? На восемнадцать лет была изгнана из общества, как прокаженная… Но ведь я реабилитирована!..

А почему я позволяю столько лет себя мучить? Может, надо было давно умереть? Тем более, страха смерти у меня никогда не было. Значит, я всегда могла бы покончить с собой. Не дать так себя мучить. Если теперь? Но это же убьет маму. А Валериан?.. Что будет с ним? Он слишком сильно, бог знает за что, меня любит. И главное, я ему просто нужна. Не могу его оставить одного в этом диком страшном мире. Если бы могла, то давно написала бы Сергею. Он-то сильный. Но возле него тоже слабый человек — его жена. Как ее оставить одну… Нет возможности умереть, надо нести свой крест, пока не победишь.

Раздался стук в дверь, я отперла. Судьба вошла ко мне в

образе пожилого типографского рабочего. Сутулого, лысого, бледного, в поношенном костюме, со свертком в руках. Я пригласила его к круглому столу. Он сел на единственный стул и сразу заметил белый соскоб.

— За этим столом работаете? Хорошо пишете, Валентина Михайловна. В типографии всем как есть нравится, все до одного читали гранки. Когда велели разобрать шрифты, возмущению конца не было. И… вот товарищи меня отрядили вам сказать: прекращайте борьбу в Саратове, ничего вы здесь не добьетесь, только последнее здоровье потеряете. Понятно? Бороться надо в Москве. Мы вот припрятали для вас один сигнальный экземпляр. Вот передаю.

И он передал мне готовый том «Рассказов и повестей».

Уходя, он вдруг спросил:

— Девять лет сидели?

— Девять. И еще девять вроде ссылки по глухим углам.

— На лесоповале были?

— Пришлось не так долго. Заболела…

— Никогда бабам руки не целовал, а вам поцелую. — И он поцеловал мне руку. Я чмокнула его в щеку.

Итак, ехать в Москву. Немедленно. Весь вопрос в том: на что? У меня не было денег. В расчете на близкий выход книги я, признаться, надолжала. Зная, что мне будет чем отдавать, друзья охотно ссужали меня деньгами. И вот теперь у меня не только не было денег, чтобы расплатиться с долгами, но и на билеты в Москву туда и обратно…

Помчалась к Таисии Константиновне и Сергею Ивановичу, когда-то снабдивших нас деньгами на билет в Караганду. Рассказала им всё, извинилась, что не могу отдать им сейчас долг.

Таисия Константиновна тихо ахнула.

Сергей Иванович сразу оценил совет типографских рабочих.

— Я давно об этом подумываю… Хотел поговорить с вами, но как раз приняли рукопись… договор на книгу. Решил, что дурное позади. В Москву ехать не на что?

Он казался очень озабоченным и смотрел на меня, как-то испуганно листая сигнальный экземпляр.

— Дело в том, Валечка, что я перевел все деньги со сберкнижки матери и сестре в Петровск на ремонт их дома. Он просто в аварийном состоянии, а зарплату, как всегда, отдал Тасе. На питание. Тася…

— Могу только на дорогу в Москву, — вздохнула Таисия Константиновна.

— А на что она поедет назад? — испугался Сергей Иванович.

— Может, в Москве она найдет свое счастье и деньги будут… Там столько больших писателей, и… они-то не будут завидовать. Я буду молиться. Значит, помогут.

Я поехала в Москву в конце декабря. Стояли трескучие морозы, а у меня не было зимнего пальто, только проношенное демисезонное.

На обратный билет денег у меня не было, поэтому мне оставалось лишь одно — победить.

Поезд в Москву приходил из Саратова утром. Устроившись с квартирой, я тут же, не теряя времени, направилась побеждать.

Остановилась я у старушки, адрес которой дали мне корректорши. Спала у нее на раскладушке — один рубль за ночь. На обед денег у меня не было, на завтрак и ужин тоже. Но я заходила в столовую и брала кофе или компот и налегала на хлеб.

Именно в это время Хрущев придумал в столовых бесплатный хлеб. О, как я была ему благодарна!

Старушка жила близ Цветного бульвара. Поэтому я сначала зашла в редакцию «Литературной газеты». Там, немного помешкав, я прошла к заведующей отделом писем, очень симпатичной женщине, и выложила ей свою историю.

Она перебила меня, не дослушав:

— Не тратьте на меня свой запал, я всё поняла, всё. Вам надо поговорить с главным редактором Косолаповым Валерием Алексеевичем. — Она тут же ему позвонила и попросила принять одну очень яркую личность.

Согласие было дано, и она сразу отвела меня к Косолапову.

Им оказался очень симпатичный, полноватый мужчина, лет под пятьдесят. Я ему всё рассказала о себе, а также о том, что на все мои очерки говорят одно: плохие!

— А вдруг правда плохие? — рассмеялся он.

— Всё может быть. Если вы мне скажете, что плохие, — вам поверю.

— И не будете писать очерков?

— Буду писать рассказы.

— Гм… Прочту внимательно. Приходите в понедельник.

— Спасибо.

В этот день была пятница. После «Литературной газеты» я прошла в редакцию журнала «Молодая гвардия». Походила, побродила по коридорам и зашла к главному редактору издательства, моложавому, выхоленному мужчине.

Принял он меня любезно, но едва я начала говорить, раздался телефонный звонок. Редактор извинился и стал оправдываться перед кем-то по телефону, почему они разобрали

шрифты набора чьей-то повести, ранее принятой и одобренной.

— Понимаете, мы вообще-то приняли эту повесть скрепя сердце, словно под гипнозом… такой он парень напористый. Ну, а разобрали шрифты… мы же не знали, что он знаком с Гладковым, навещает его в больнице, а тот поднимает настоящий скандал из-за этой самой повести.

«Господи, да он набитый дурак», — в ужасе подумала я и пошла к двери.

— Куда вы, я сейчас… кончаю разговор. Я свободен! — Он с поклоном положил телефонную трубку.

Я быстро спустилась по лестнице, не зная, куда мне идти… Уж не помню, каким образом я очутилась в издательстве «Советская Россия». Там бродила по коридору еще дольше, заглядывая в кабинеты, ища симпатичное лицо. Не нашла и, махнув на всё рукой, заглянула в отдел «Советская литература» к заве дующему.

Он отнюдь не был расположен слушать мою историю (как я потом узнала, у него самого была такая же, только он в лагере был не на общих работах, а в «придурках»). Книжку он небрежно сунул в ящик и предложил заходить через две недели.

— Отпадает, — отрезала я, — должны прочесть и всё решить к этому понедельнику. Дело в том, что мне… что у меня нет денег ни на еду, ни на обратный билет, я живу в Саратове. Две недели не евши я просто не выдержу. Читайте немедленно.

Некоторую сонливость его как холодной водой смыло, он вытаращил на меня глаза.

— Ничего себе! А если нам ваша рукопись не подойдет?

— Понесу в другое издательство, где люди поумнее. Книга талантливая.

— Вы от скромности не умрете.

— Пожалуйста, доложите обо мне главному редактору.

— В понедельник. Когда прочту эту книгу.

— До понедельника ее должны прочесть минимум двое. Нет, трое. Всем по дню.

— Ладно, пошли.

Завотделом привел меня к главному редактору, последний, не дослушав, выхватил книжку и погрузился в чтение. Завотделом подмигнул и ушел, главный редактор читал и хохотал. Я устроилась поудобнее в кресле, ужасно хотелось есть…

— Да, юмор у вас не хуже марктвеновского, и это вы писали после лагеря? Сколько лет сидели?

— Девять!

— Черт побери!

Он положил мой сигнальный номер в портфель и стал рыться

в кошельке.

— Вот только двести пятьдесят рублей… Пообедайте. Отдадите, когда книга выйдет. Приходите в понедельник.

Деньги я взяла, поблагодарила и ушла. После того как пообедала в какой-то столовой, я поехала на улицу Воровского. Еще можно было успеть в правление Союза писателей СССР.

Там я сразу наткнулась на очень симпатичную женщину, глуховатую машинистку, вдову известного профессора. Я прокричала ей про свои затруднения.

— Я поняла, мой друг, — сказала она, — я провожу вас к очень доброму, очень хорошему человеку Константину Мурзиди.

И она познакомила меня с Мурзиди.

— Не сняла пальто, — шепнула она ему, — сильно промерзла, мороз-то какой стоит. А одета… в осеннем. Напоите ее горячим чаем… или кофе. Может, сварить? — И она мигом сварила кофе и подала его в стаканах вместе с печеньем.

С Мурзиди мы беседовали довольно долго, и он забрал рассказы «Ассиат», «Каникулы Вали Герасимовой», «Когда я была маленькой» и некоторые другие, отпечатанные на машинке.

— Приходите в понедельник, — сказал он, пряча рассказы в портфель. — Идемте, я вас чуть провожу… Здесь стоянка такси за углом. Подброшу вас, как раз по пути.

Он подбросил меня до старушки с раскладушкой. Ему совсем не было по пути, и вообще он с работы ездил на троллейбусе, но он был добрый человек, и ему было жаль меня в такой мороз… в демисезонном пальто, а ехать надо было с пересадкой.

Раздав рассказы, я стала просто осматривать столицу, Москву-матушку. Побывала в Третьяковке, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музее восточных искусств, где мне особенно понравилось японское искусство — такое поэтическое и окрыленное, словно творили его не люди, а прекрасные инопланетяне, крылатые существа.

Но пришел понедельник, и я снова пошла в том же порядке, по тем же адресам.

Улыбающаяся секретарша сразу провела меня к Косолапову. Он встретил тепло и задушевно, пожал обе руки, усадил.

— Прочел ваши очерки… Очень хороши! Особенно мне понравился «Кафедра земледелия и колхозы». Впрочем, и другие не хуже. Не понимаю, что это они отказываются от такого очеркиста. Когда нашей газете нужен хороший очерк — заказываем писателям со стороны… Если согласны, будете нашим внештатным корреспондентом. Командировки будем оплачивать, как сотрудникам, а гонорар вдвойне.

— Конечно, согласна, спасибо большое.

Я вдруг рассмеялась.

— Вспомнила комичный эпизод из лагерной жизни. Рассказать?

— Рассказывайте.

Я рассказала тот случай, когда, по колено в ледяной воде, долбя вечную мерзлоту, женщины пали духом и решили, что проживут самое большое две-три недели, Чтоб поднять общее настроение, я стала давать клятву выдержать и не такое и приехать после реабилитации в Магадан корреспондентом центральной газеты.

— Загнешься до тех пор!

— Не выживешь, Валька.

— Назло возьму и выживу, и приеду. Валерий Алексеевич стремительно вскочил, схватил меня за руку и потащил к двери.

— Куда вы меня тащите? — удивилась я. Секретарша смотрела на эту сцену с удивлением, но улыбалась.

— Как это куда? В бухгалтерию. Оформлять командировку в Магадан.

— Еще рано. Когда начну печататься на страницах «Литературной газеты»… Да и как я поеду… в таком задрипанном виде. Дайте прийти в себя, одеться хоть. И если честно, я не желаю… я не могу туда ехать…

— Ну ладно. Там посмотрим…

— Договорились.

Он проводил меня до лифта, поцеловал руку с неухоженными ногтями.

Следующий визит был в издательство «Советская Россия». Там меня ждало радостное известие: книга понравилась.

Меня направили к редактору Валентине Михайловне Кургановой заключать договор.

Договор она уже заполнила, предложила мне подписать его, что я и сделала.

— Денег, к сожалению, сейчас, в конце года, нет. Будут в январе либо в феврале.

Курганова рассказала мне, что главный редактор настоял на том, чтоб издать книгу в наступающем году… Но план был заполнен. Тогда директор издательства сказал: «Я помню, там была одна или две довольно слабые в художественном отношении книги. Вычеркните ту, что послабее, а эту поставьте. Вот и всё».

Так моя книга очутилась в четвертом квартале 1958 года. Счастливая, подходила я к Союзу писателей на улице Воровского. Мурзиди крепко пожал мне руку, мы сели у стола, и он с минуту смотрел на меня — толстый, добрый, неуклюжий. Затем он поднялся и стоя поздравил меня с хорошими рассказами.

Я от души поблагодарила его.

— А теперь я вам продиктую два заявления, — сказал он, кладя передо мной пачку бумаги и авторучку. — Пишите на Литфонд.

В одном заявлении я просила бесплатную путевку в Дом творчества писателей в Ялте. В другом — о безвозвратной ссуде в три тысячи рублей (теперешних триста рублей).

— Неужели дадут? — не выдержала я.

— Уже всё договорено.

Он схватил оба заявления и поспешил к начальству за подписью. Вернувшись, сказал:

— Еще не поздно, направляйтесь в Литфонд, там получите и деньги и путевку. Сегодня же вечером выезжайте.

Он разъяснил мне, как проехать туда троллейбусом, и мы простились.

На десятом номере я доехала до улицы Горького, там пересела на двадцатый и доехала прямо до Литфонда. Он находился рядом с почтой и телеграфом.

За какой-нибудь час меня полностью рассчитали, и я зашла на эту самую почту.

Перевела Вале деньги — уплатить наши долги друзьям, ему самому на питание, чтоб не голодал. И мне осталось еще сотни полторы на билеты в оба конца.

Затем я составила сногсшибательную телеграмму и не без некоторого злорадства адресовала ее не на домашний адрес, а на издательство. Я знала, как там развернется дело. Так и вышло. В точности!..

Вале принесли телеграмму в корректорскую, он прочел и просто ахнул. Корректорши поинтересовались: что именно в телеграмме. Он дал им прочесть, сияя от радости.

— Можно, мы покажем директору?

— Пожалуйста.

Корректорши втроем отнесли телеграмму Быстрову. Борис Николаевич, улыбаясь, зашел к Вале и поздравил его с такой удачей. Шутка ли: договор на книгу с московским издательством, помощь Союза писателей, путевка в Дом творчества. Ура, ура!

— Валериан Георгиевич, можно, я снесу эту телеграмму в обком? Пусть прочтут.

— Пожалуйста.

— Спасибо.

Как я все это представила, так в точности и вышло.

Ну, а я в тот день направилась на вокзал покупать билет до Симферополя.

Однако что-то со мной произошло — нервы не выдержали,

слишком много радости, отвыкла я от нее.

Я начала рыдать и никак не могла остановиться. Это был просто срам! Увидя наклеенную газету, я остановилась перед нею, будто читаю, а сама… рыдаю. Меня окружили москвичи — целый хоровод.

— Кто-нибудь умер?

— Вас обокрали?

— Товарищи, проходите, мне просто неловко, но я не могу остановиться — плачу, и всё. Пожалуйста, идите.

— Как это «проходите»? — возмутился рыжий мужчина в шапке набекрень. — А может, у вас беда и помочь надо. Вы скажите нам, не смущайтесь. Вижу, приезжая, но и мы тут в Москве не людоеды.

— Товарищи, понимаете, это у меня от радости. Большая радость, сразу много радости — вот и реву.

— От радости?..

Рыжий явно опешил и потянулся к затылку — сдвинул шапку на лоб.

— Да я бы согласился от радости белугой реветь. Только радости что-то мало. Надо же! Ну пусть ее поплачет, ежели от радости, — и он, посмеиваясь, ушел. Хоровод расходился, с явным недоверием поглядывая на меня.

Мне почему-то стало жаль рыжего, и я перестала плакать.

Ялта встретила солнцем, синим спокойным морем, южным ветерком из Африки. На грядках цвели астры и мелкие розы. На деревьях зеленели листья. Через неделю — Новый год!

Тем же вечером я выехала в Крым. На мне было единственное платье (пестренькое, серое с красным) из искусственного шелка и ни одного сменного.

В огромном трехэтажном доме проживали двенадцать писателей. Я приехала тринадцатая. Все мы размещались на третьем этаже, в комнатах, выходящих на море. На верхнем этаже было теплев, уютнее, но днем все равно все держали двери на балкон открытыми. В Доме творчества из известных был поэт Твардовский, 31 декабря приехала Аделина Адалис. С последней я как-то скоро подружилась. С ее разрешения стала звать ее Ада Ефимовна. Здесь же был ее прежний муж, с которым она теперь была в разводе, — Владимир Иванович Сергеев, они остались добрыми, верными друзьями.

Узнав, что я пробыла в сталинских лагерях девять лет, Твардовский, который был только что назначен редактором «Нового мира», попросил у меня что-нибудь прочесть. Я дала ему те же самые рассказы, что и Мурзиди.

Александр Трифонович нашел, что я талантливая, но

рассказы ему явно не понравились. Он попенял мне, что я трачу свой талант на писание глупостей…

Я с ним не согласилась категорически.

— У вас есть что-либо о лагере? Такой материал пропадает. Вы ведь там были — знаете не с чужих слов. Не понимаю, почему же не пишете об этом? Боитесь?

— Я не из трусливых. Но меня совершенно не интересует эта тема, поймите. Как писатель, я продолжатель Александра Грина…

— Вы… романтик? — переспросил он с ужасом.

— Именно. — О господи! Он ушел.

«Курортная газета» поручила мне написать новогодний очерк в номер для 1 января.

Я посидела полтора дня, написала и отнесла. Очерк Твардовскому понравился. Он несколько раз сказал мне об этом.

— Где вы познакомились с этим героем — капитаном? Интересная, глубокая личность.

— В лагере. А был он из Одессы. Где сейчас — не знаю.

За эту неделю в ялтинском Доме творчества мы все как-то сдружились. Когда в нашем кино шел хороший фильм, мы все вместе после ужина отправлялись туда. Иногда в кино я шла одна (зал наполнялся работниками обслуги и их родственниками), а писатели усаживались за преферанс наверху в обширном холле, куда впадали два коридора и лестница, ведущая в нижние этажи.

Моя комната была второй от холла. В первой жил Твардовский. Его жена и дочь занимали две комнаты в другом конце коридора. Они играли в преферанс, а я сидела рядом в кресле и читала. Если чувствовала себя усталой, шла к себе и читала лежа. Твардовский все уговаривал меня научиться игре в преферанс, но я наотрез отказывалась: терпеть не могла карт.

Новый год в Доме творчества по традиции встречали вместе.

Ужин переносился с семи часов вечера на одиннадцать. Стол сервировался за счет Литфонда: фрукты, вино, конфеты и так далее. Но в этот раз компания заявила, чтобы ужин им совсем не готовили, так как все идут в ресторан.

Должно быть, женщины все-таки уточнили, что все, кроме одной, так как ровно в семь меня, как обычно, пригласили ужинать. И в пустом зале, одна, я отлично поужинала: жаркое, форель, свежие, еще теплые, булочки к чаю.

После обеда в этот день и приехала Аделина Ефимовна Адалис, жена Твардовского встретила ее в коридоре как раз возле моей комнаты, пригласила в ресторан со всеми вместе. Адалис согласилась.

В десять часов вечера они все уже были в ресторане.

Ко мне подошла дежурная по этажу, хорошенькая,

молоденькая девушка.

— Валентина Михайловна, мне так не везет, выпало дежурить как раз под Новый год… Понимаете… Мой молодой человек сердится. Я вас очень прошу отпустить меня. Они раньше четырех часов не придут, а в три часа я уже вернусь.

— Пожалуйста! Конечно, идите!

— Спасибо вам! Вот ключ от входной двери, запритесь. А у меня есть второй.

И она упорхнула.

Я заперла дверь, положила ключ на стол. Затем медленно прошла все три этажа, всюду зажигая свет. В комнате своей зажгла все семь лампочек. Устроившись поудобнее на постели, раскрыла книгу. Но мне не читалось. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Не то чтоб боялась конкретно воров там или бандитов, но было как-то не по себе.

Я оделась в вышла на балкон… Южный город в новогоднюю ночь — всюду иллюминации, световые рекламы, фейерверки. Гавань горела сверкающими кораблями, и всюду звучала музыка. И только я одна сидела на этом каменном балконе в пустом доме посреди темного мрачного парка.

Как там в Саратове? Валя и мама с Лией встречают Новый год… Выйти из дома и пойти туда, в эту праздничную, веселую, оживленную толпу… Но я одна… Мне будет слишком грустно пробираться одной среди ликующих, веселых людей. Нет. Просижу здесь ночь на балконе…

Я стала вспоминать своих товарищей по лагерю, как мы вместе встречали Новый год.

Что бы я ни пережала в лагере, но чувства одиночества я там никогда не испытывала. Мне стало так обидно и горько, что я расплакалась. Плакала я часов до трех, потом легла спать. К утру уснула, когда все они уже возвратились.

Утром я слегка проспала, но они все тоже проспали. К завтраку собрались одновременно.

Мужчины сдвинули столы, расставили бутылки с вином, какую-то закуску, и завтрак праздничный был далеко не плох.

Напротив меня сидел Твардовский и его жена со скульпторшей, с которой она дружила. Рядом со мной Адалис, а по другую сторону от меня молодой казахский поэт, глуповатый и добрый. Он и испортил всем веселое похмелье.

— А где вы встречали Новый год, Валентина Михайловна? — спросил он меня. — Вас же с нами не было. Надеюсь, весело?

Было шумно, а он спросил негромко, но вдруг наступила абсолютная тишина. Все смотрели на меня. Видимо, каждый думал, что это он один замолчал, так как хотел услышать, что я

отвечу.

— Самая тяжелая, самая грустная новогодняя встреча за всю мою жизнь.

— Как?.. Почему?

И я ему рассказала, как я плакала от невыносимого чувства одиночества на балконе.

— Вы понимаете, в лагере мы, смеясь, чокались кружками с морковным чаем вместо вина. Тяжелая работа, недоедание, холод, но… чувство товарищества, чувство локтя. Рядом добрые, хорошие люди, ты — не одна. Понимаете?

— Понимаю. Я как-то сразу понял, когда увидел вас утром. Глаза такие грустные и на кой черт я пошел в этот ресторан? Мне ведь тоже там совсем не было весело.

— Кошмар! А я и не знала. Мария Илларионовна сказала мне, что все идут встречать Новый год в ресторан! — вскричала Адалис. — Но вас хоть приглашали? Может, вы отказались?

— Меня не приглашали. Ладно, хватит об этом, — ответила я.

Твардовский медленно поднялся, уничтожающе взглянул на жену и скульпторшу, швырнул вилку с куском мяса и, не дозавтракав, ушел.

— Но ей же не в чем было идти, у нее платья нет подходящего, — сказала Мария Илларионовна, обращаясь к Адалис.

— Почему мне не сказали? Я бы дала ей свое платье или шаль. У меня как раз с собой очень красивая индийская шаль.

Вечером, когда все они собрались в нашем холле для преферанса, Твардовский сказал:

— Извините, сегодня я занят.

Он прошел к моей комнате и постучал в дверь.

Сидел у меня до двенадцати ночи — развлекал, много рассказывал о себе.

Александр Трифонович рассказал мне, как он создавал в Смоленске свою «Страну Муравию». Отнес ее в издательство. Редактор Котов затребовал у него второй экземпляр, а затем отнес один из них в обком, а второй в НКВД. Началась дикая травля молодого Твардовского. Ему не давали никакой работы, не печатали, а жена его в это время кормила двухмесячную дочь, и был у них еще сынишка четырех лет. Порой Твардовский не мог достать полтинник на хлеб, чтоб покормить жену.

— А как звали этого редактора, случайно не Михаил Поликарпович? — спросила я вдруг его. Твардовский удивился.

— Именно так, но откуда вы знаете?

Я рассказала, что ответственного секретаря Саратовского

отделения Союза писателей зовут именно так, он из Смоленска, и именно он поддерживает мою травлю.

Мы подивились, сколь тесен мир. Так началась наша дружба… если можно назвать дружбой настойчивое желание редактора «Нового мира» непременно получить от меня рассказы о лагере.

— Почему вы не хотите? Чего вы боитесь… при Хрущеве?

— Если бы я боялась, непременно бы написала. Но я не боюсь, а писать на эту тему меня не манит. Может быть, когда-нибудь на старости лет я и напишу, если доживу. А сейчас я хочу писать то, что я пишу.

— Романтику? — ядовито спросил он.

— Вот именно. В стиле Александра Грина, но о моих современниках, живущих рядом со мной. Уверена — романтика в наше время нужна как никогда.

В 1958 году в издательстве «Советская Россия» вышла книга моих рассказов и повестей «Если есть верный друг». По ней меня приняли в Союз писателей.

Собственно, на этом можно было бы и окончить мою Книгу. Я победила. Но я должна рассказать о другой встрече с человеком, которому я безгранично обязана как писатель.

Получив гонорар за книгу, мы с мужем поехали осенью 1958 года в Дом творчества в Ялте. Нас устроили в двух чудесных угловых комнатах с видом на море.

На этом третьем этаже работал Паустовский. Он ни с кем, кроме Арбузова, не общался, они и за столиком в столовой были вдвоем. Мы сидели с автором «Александра Матросова» Александром Терентьевичем Журбой.

У нас оказалось очень много общего во взглядах, единственное, в чем мы расходились, и он просто из себя выходил, — это то, что я верю в сны… Но как я могу не верить, если они у меня сбываются?

Однажды я увидела на веранде Паустовского в кресле — подошла к нему и подарила ему свою книгу.

Примерно через неделю во время обеда он, войдя в столовую, направился не к своему столику, а к нашему и, сей на пустующее четвертое место, в немом изумлении уставился на меня.

«Прочел и ему понравилось», — поняла я и отодвинула котлету, будто сразу наевшись.

— Не помню, чтоб когда-нибудь в жизни я был так удивлен, как сегодня ночью, — начал он. — Признаться, я взял вашу книгу, решив перед сном просмотреть ее, как говорится, по вертикали. На «Ассиат» я застрял. Это был стиль отнюдь не начинающего писателя. Поздравляю, коллега, вы написали книгу очень

хороших рассказов. Но где вы были всё это время? Почему мы все ничего о вас не знаем? И что еще интересно… Сколько лет ведется спор о положительном и отрицательном герое: почему это именно отрицательные герои у всех ярче и красочнее положительных. И вот я нахожу талантливого писателя, у которого как раз наоборот — именно положительные герои ярки, выпуклы, выразительны, а отрицательные гораздо слабее. Представляю их лица, что они теперь скажут, когда прочтут ваши произведения?

— Они просто сделают вид, что меня не читали, или действительно не станут читать мои книги. Вот и всё.

— Вы пессимистка?

— Как странно, Константин Георгиевич, меня всегда считали оптимисткой. В лагере даже клички были «Кандид», «Веселый скелетик» и тому подобные. И вот впервые в жизни меня называют пессимисткой. Это не пессимизм, это просто некоторое знание людей, которое я приобрела.

— Но не все же такие!

— Конечно, не все. Я говорю о массе.

— Как могло случиться, что я до сих пор вас не знаю? Где вы были до сих пор? — спросил Паустовский.

Я ему рассказала, где я была восемнадцать лет и последующие четыре года в Саратове.

Паустовский был взволнован, но овладел собой.

— У вас есть еще что-нибудь ваше? — спросил он.

— Есть одна вещь — роман «Смотрящие вперед», но он пока лишь отпечатан на машинке.

— Принесите его, пожалуйста, сразу после обеда.

Я принесла.

Он посмотрел рукопись.

— О, лоции… которые я так люблю! С наслаждением буду читать.

На другое утро Паустовский уже обсуждал со мною, где я хочу печатать «Смотрящих вперед».

— В «Советской России». Они уже запланировали.

— Слушайте меня. Это издательство вам противопоказано. Вы должны порвать с ними.

— Но почему? Они согласны меня печатать…

— Они будут старательно убивать в вас романтика. Это точно, поверьте мне. А так как вас долгие годы не печатали и это издательство все же отличное, вы невольно пойдете им на уступки. Никто вас за это не осудит, нет, но они будут уничтожать и могут уничтожить в вас романтика. А это будет ужасно. Со времен Александра Грина вы первый настоящий

романтик.

— А вы?..

— Я совсем другое. Я, быть может… Ну, не будем говорить обо мне. Здесь второй экземпляр, а где первый?

— В «Советской России».

— Заберите. Поедете отсюда в Москву, и заберите.

— Но куда я ее понесу? В Саратове меня не печатают.

— Теперь будут печатать. Но мы найдем вам и столичное издательство. Это я беру на себя.

— Спасибо.

Он улыбнулся.

— Как вы неуверенно произнесли это «спасибо» Но я это обещаю вам не только как писатель Паустовский, но и как завкафедрой творчества в Литературном институте. Короче — это я беру на себя. Вы пишете для молодежи, и вам подошло бы больше всего издательство «Молодая гвардия». Но… Там засели очень плохие люди, а с вас хватит плохих людей. Поэтому остановимся на «Детгизе».

— Но я же не детский писатель! — вскричала я.

— Они печатают и для старшего возраста и юношества. А вообще-то… — Он как-то трогательно посмотрел на меня и торжественно произнес: — Вы детский писатель милостью божьей.

В «Детгизе» меня приняли очень хорошо, я выпустила там много своих книг. Две из них получили премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую и юношескую книгу. Были внесены в программу для внеклассного чтения школьников.

Итак, на вопрос ответственного секретаря Саратовского отделения СП: «Вы считаете, что в сорок пять лет можно начинать жизнь заново?» — я ответила не только словом, но и делом. Вторая половина моей жизни — это жизнь писателя, с ее радостями и горестями, муками творчества и счастьем творчества.

Если идти всю жизнь к своей цели — идти путем добра и правды, — то непременно победишь. Конечно, если не вмешается смерть.

Бедный Бруно Ясенский так и не дождался долгих гудков, которых так жаждал.